

«Броский, парадоксальный, неожиданный роман — вызов Сталинской эпохе».

Валерия Шишкина, главный редактор
журнала «ТОПОС»

Леонид БЕЖИН

Лауреат «Бунинской премии».

РАЗГОВОРНЫЕ ТЕТРАДИ СИЛЬВЕСТРА С.

Леонид Евгеньевич Бежин
Разговорные тетради
Сильвестра С.
Серия «Городская проза»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42660789

*Л. Бежин. Разговорные тетради Сильвестра С.: ООО «Издательство АСТ»; Москва; 2019
ISBN 978-5-17-114620-7*

Аннотация

Разговорные тетради композитора Сильвестра Салтыкова таинственно связаны с судьбой России. Сильвестр записывает в них доверительные и откровенные разговоры с выдающимися современниками и людьми из потустороннего мира. Тетради Сильвестра С. были похищены и вывезены из страны, и этим, по мысли автора романа, и объясняются все беды, несчастья, страдания и утраты России.

Содержание

От издателя	5
Тетрадь первая. А может, он старец	12
Тетрадь вторая. Нейгаузы и Пастернаки	41
Тетрадь третья. Русский англичанин	65
Тетрадь четвертая. Вот какой я Шиллер	81
Тетрадь пятая. Музыкальное семейство	96
Тетрадь шестая. Дядя Коля и дядя Боб	110
Конец ознакомительного фрагмента.	120

Леонид Бежин

Разговорные тетради

Сильвестра С.

© Текст. Леонид Бежин, 2019

© Оформление ООО «Издательство АСТ»

* * *

От издателя

Предисловия издателей к их книгам обычно бывают короткими. Если воспользоваться русским речевым оборотом – с гулькин нос. Нос, или клювик, у нашего гульки, каких великое множество перед собором св. Марка в Венеции (тучей вздымаются ввысь), по размерам... ну, совсем маленький, с ноготок мизинца. Вот и предисловия издателей, как правило, не больше странички.

Они ограничиваются поклонами и реверансами. Как то: принесением благодарности за финансовую поддержку лиц, чьи имена здесь же благоговейно перечисляются, выражением скромной надежды на успех и прочим никому не нужным вздором – вроде признания за читателем права судить о достоинствах книги и смиренного отказа выносить собственные суждения.

Собственные-то, они, мол, заранее обречены на пристрастность и лицепрятие.

Я не намерен отступать от этой благочестивой традиции и постараюсь быть кратким, употребив такие же старания на то, чтобы по возможности избежать откровенного вздора: его в наше время и без того хватает.

Даже от застоявшейся на солнце воды сказочно-прекрасных каналов Венеции подчас ударяет в нос затхлым запашком, а это разве не вздор?!

Поэтому позволю себе лишь несколько вступительных слов, хотя сознаю, что похвальное стремление к краткости подчас оборачивается невыносимыми длиннотами (невыносимыми, как удушающая тропическая жара или затянувшаяся церковная проповедь, предшествующая банкету).

Итак, сразу о главном.

Выпуском этой книги мне прежде всего хотелось бы загладить чувство вины перед родиной автора – Россией, которую я очень люблю (хотя подчас и ненавижу), и ее великой культурой. У нас на Западе Россию называют великой из-за ее огромных размеров (одна Сибирь занимает поистине необозримые пространства), но это не та великость, коей следует удивляться. Гораздо больше впечатляет величие мысли, гениальных открытий, художественных прозрений, охватившее полмира – да чего там! – весь мир.

России принадлежат такие континенты, как Толстой и Достоевский, Чайковский и Рахманинов, Врубель и Кандинский, – всего не перечислишь (перечисляю самое известное, поскольку не обладаю достаточными знаниями для более изысканного выбора).

И вот по моей вине эта великость умалилась, ужалась, скукожилась и стала размером с медный пятак. Объяснюсь, чтоб меня поняли.

С тех пор, как я приобрел на аукционе разговорные тетради Сильвестра Салтыкова, некогда известного, а ныне почти забытого русского композитора, и увез их к себе на ост-

ров Сицилию (там у меня окруженный виноградником дом с балконами и верандами), в России начался ужасающий культурный упадок. Мне не раз говорили, что между тетрадами и судьбой России существует некая глубинная связь, которую даже называют мистической, но я, признаться, этому не очень-то верю. Я и в непогрешимости папы подчас сомневаюсь и свои коммерческие секреты не выдаю даже на исповеди. К тому же я слишком хорошо знаю русских, у которых на все найдутся особые и, конечно же, мистические (о-го-го!) причины.

Без этих мистических-то у них и чаю не выпить, и в дурака не сыграть...

Но вот незадача: поверить-то мне все-таки пришлось. Едва лишь сафьяновый, винно-красного цвета портфель с тетрадами, пристегнутый к наручнику, какие некогда носили дипкурьеры (я обожаю подобный старомодный антураж), покинул пределы России, там – после недолгого ренессанса, опьянения свободой, публикации запрещенных некогда книг, всеобщей эйфории и самых радужных надежд – все зашаталось, затрещало и рухнуло в бездну.

Россия себя утратила, втоптала в грязь, перестала быть страной культуры. Культуру, гордость России, отдали на посрамление, довели до крайнего унижения, *опустили*, как в тюремной камере опускают новичка, заставляя спать возле параша. И от великих континентов остались жалкие островки в заболоченной, мутной, подернутой ржавчиной (цвету-

щей) воде.

Меня умоляли, и на самом высоком дипломатическом уровне, вернуть тетради, но уж тут извините. Не очень-то вы ими дорожили, раз позволили мне, итальянцу, по дешевке их скупить и вывезти. И таможня не заподозрила неладного, не возмутилась, не забила тревогу, получив в виде поощрения *борзого щенка* (так у русских называют взятки).

Чтобы возместить ущерб, нанесенный мною России, я и решил опубликовать произведение, написанное прежним владельцем разговорных тетрадей, скрывшимся под инициалами М. П., что может означать Михаил Петрович, Модест Павлович, а может – самая причудливая и экстравагантная версия – Место для Печати. Ну, знаете, в левом нижнем углу документа... Хотя в данном случае это, конечно же, аллегория, подразумевающая Место для Печати, которую ставит Господь Бог.

Иными словами, автор готов к тому, чтобы на нем запечатлелась Воля Божия. Право же, неплохо для автора романа о пути музыканта, вдохновляемого церковным пением допетровских времен – так называемым *знаменным распевом* (а роман при всей его сложности и многоплановости именно об этом).

Иными словами, Сильвестр Салтыков, главный герой романа, не заключал сделки с дьяволом, а напротив, уподобляясь древнерусскому иконописцу, своим творчеством стремился послужить... (Окончание фразы пропущено по недо-

смотрю корректора. – Издательство.)

Однако продолжу. В моем маленьком издательстве я привык печатать лишь то, что мне нравится и что доставляет мне удовольствие как читателю. Мне и только мне, поэтому другие это никогда не напечатают. Я трезво воспринимаю коммерческий успех своих книг, не пренебрегаю им, но и за ним не гонюсь, рассуждая так: если захочет, то и сам явится. В этом меня до самой своей смерти поддерживал мой хороший знакомый Джанджакомо Фельтринелли (он трагически погиб в 1972 году), человек при всей своей трезвости склонный к романтическим безумствам и рискованным авантюрам, утонченный эстет и член компартии, итальянский издатель «Доктора Живаго». Мы с ним сошлись во мнении, что с публикацией «Доктора» и присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку, нами глубоко чтимому, пустовавшая некогда ниша заполнилась.

К тому же успех «Доктора» приобрел скандальный оттенок: пошли слухи о причастности спецслужб к публикации романа. Поэтому читающая публика, охладевшая к русским романам, вряд ли почтила бы своим вниманием несвоевременно изданную новинку. Да и наивно было бы здесь, на Западе, почти утратившем веру (собственно, отсюда упомянутый выше недосмотр корректора), ждать успеха от книги, посвященной русскому церковному пению и его знатоку Сильвестру Салтыкову.

Этим я и воспользовался для того, чтобы избежать шу-

ма и скандала. Я напечатал роман М. П. скромным тиражом, без всякой рекламы, подкупа рецензентов и прочих приемов коммерческого рынка. На презентации, устроенной мною (смешно сказать!) в охотничьем клубе, не набралось и десятка участников. Да и ими, больше привыкшими травить зайца и выманивать из норы лису, вся эта процедура, признаться, воспринималась как дичь.

Для меня же публикация была важна лишь тем, что я таким способом мог хотя бы частично вернуть России долг – разговорные тетради, на которых, собственно, и основан роман.

Ну, и еще кое-что личное подтолкнуло меня к этому. При чтении романа меня тронуло, что Сильвестра сначала хотели назвать моим именем – Паоло. Кроме того, моя фамилия – Волконский (я потомок русских эмигрантов) – не уступит по знатности фамилии Салтыковых. Тут мы с ними еще поспорим. Все это наводит меня на мысль (примите ее как шутку), что я тоже отмечен Печатью, что Господь поначалу прочил меня на место Сильвестра Салтыкова. Но в последний момент Он передумал. Передумал и обрек Сильвестра на то, чтобы родиться в многострадальной России, а меня пожалел и ниспослал мою душу в благословенную Италию.

P. S. Прошу прощения за то, что предисловие все же немного затянулось.

Паоло Волконский, директор издательства «Vita nuova»,

Сицилия, Палермо, 2007 год

Тетрадь первая. А может, он старец

1

При всех моих недостатках и даже пороках, коих я заведомо не отрицаю (а, наоборот, с готовностью признаю), я неповинен, пожалуй, только в одном. Я никогда не отказывал себе в удовольствии быть до простодушия откровенным и искренним, хоть это и выглядело подчас не совсем уместным, нарушающим приличия и даже скандальным. «Боже, что он несет! Зачем это?! Кому это нужно!» – прочитывалось на лицах тех, кто меня слышал в такие минуты, испытывая при этом единственную потребность – поскорее заткнуть мне рот любым попавшимся под руку предметом.

Так в одном восточном стихотворении зардевшаяся от стыда молодая жена затыкает гранатом рот попугая, разболтавшего при родителях все то, о чем молодые шептались за пологом кровати.

Я же, как и тот попугай, все равно не отказывал себе в упомянутом удовольствии... ха-ха... И даже с удовлетворением потирал смазанные душистым персиковым кремом руки (род моих занятий заставляет следить за руками), слов-

но полученное удовольствие служило хорошим возмещением убытков – платой за косые взгляды, осуждающий шепот и поруганную репутацию.

Вот почему я никогда не делал тайны из того, как мне достались разговорные тетради недавно почившего в Бозе Сильвестра Салтыкова. А напротив... с простодушной откровенностью... все выкладывал как на духу, выбалтывал первому встречному: «А вы знаете, тетради Сильвестра Салтыкова, заветные тетрадочки, мне достались презабавнейшим образом. Я вам сейчас расскажу. Можно даже под водочку: две-три стопки нам не повредят. Расскажу – вы не поверите. Со смеху помрете».

И рассказывал, и старался что-нибудь этакое ввернуть, и меня с сочувственным недоумением выслушивали, хотя со смеху никто не умирал...

Сильвестр Салтыков!

Для тех, кто еще не слышал этого имени, я мог бы добавить: композитор Сильвестр Салтыков (но композитор, прошу заметить, тайно постриженный в монахи, что, впрочем, до конца не выяснено из-за отсутствия документальных свидетельств). Мог бы, но считаю сие излишним, нелепым и даже оскорбительным, как нелепо и оскорбительно словосочетание «композитор Сергей Рахманинов», словно это имя нуждается в каких-то уточнениях и добавлениях.

Рахманинов – и этим все сказано!

Точно так же я говорю: Сильвестр Салтыков! Если неко-

которые не знают, кто это, и даже не считают себя обязанными знать («Есть Моцарт, Бетховен, Шопен – с меня достаточно»), то им же хуже, поскольку они тем самым расписываются в собственном дремучем и непроходимом невежестве. А главное, лишают себя драгоценной возможности постигать музыку не только слухом (улаждая свой слух изысканными мелодиями и терпкими гармониями), но и – бери выше! – духом, обретая в ней то, что Сильвестром уподоблено драгоценной жемчужине, прообразу Царства Небесного.

Вернее, уподоблено Евангелистом, но для Сильвестра язык Луки или Матфея всегда был его собственным языком...

Однако вернемся к добавлениям и уточнениям.

2

Добавление же здесь может быть только одно.

Сильвестр Салтыков, недавно умерший от астматического удушья в Кёльне. Он был приглашен туда на премьеру своего сочинения, пролежавшего под спудом двадцать лет и извлеченного оттуда усилиями преданных друзей и почитателей, не оставлявших надежды его исполнить – пусть даже не у нас, а в Германии.

Премьера имела оглушительный успех. Все-таки немцы еще не утратили своей природной музыкальности и способности, не удовлетворяясь запросами меломанов, пости-

гать самые сложные умозрительные построения, для которых нотные знаки – лишь повод приоткрыть дверцу в сферу чистого духа.

Вряд ли такое было бы возможно в Вене, где после короля вальсов Иоганна Штрауса безраздельно властвует король додекафонии Пьер Булез, наделенный почти диктаторскими полномочиями в отстаивании интересов Новой венской школы и ее отцов-основателей – Арнольда Шёнберга, Антона Веберна, Альбана Берга. Но немцы, слава богу, свободны от этих узких музыкальных пристрастий и не склонны отрицать все, что не укладывается в прокрустово ложе изобретенной Шёнбергом двенадцатитоновой (додекафонной) системы.

Поэтому нашему автору аплодировали стоя, оркестранты постукивали смычками по пюпитрам, на сцену летели цветы, чего редко дождешься от чопорной европейской публики. Хотя справедливости ради должен уточнить: цветы преимущественно от русских туристов, не упускающих случая поддержать соотечественника здесь, в Европе, при полном к нему равнодушии у себя на родине. Множество восторженных рецензий появилось в газетах. В них как особое достоинство отмечался литургический характер музыки, воссоздающей современными средствами красоту православного богослужения, к которому немцы издавна питают слабость.

Сильвестр, не избалованный успехом, был счастлив, как никогда в жизни. Его повсюду принимали, водили, показы-

вали, и, по свидетельству жены, он, несмотря на возраст, чувствовал себя превосходно. Но, когда поднимались по лестницам Кёльнского собора, с ним случился ужасный приступ, он упал, хватаясь руками за перила, потерял сознание и в номере гостиницы скончался.

Тело первым же самолетом отправили на родину. Похоронили Сильвестра в фамильном склепе на Ваганькове. Склепе, наполовину заброшенном, одичалом, под заросшим крапивой, покосившимся мраморным (о, этот потемневший кладбищенский мрамор!) крестом и распростертыми крыльями скорбного ангела, держащего лиру.

На фотографии в фарфоровом медальоне различаются столь знакомые всем его близким черты. Неимоверная аристократическая худоба при высоком росте, ранняя седина (он запечатлен тридцатилетним), нестерпимой синевы глаза, иноческая борода, глубокая морщина посреди выпуклого и сумрачно надвинутого на глаза лба и характерная для всех Салтыковых складка губ, сомкнутых и как бы вобранных вовнутрь.

Под фотографией кладбищенские камнерезы выбили две даты, соединив их черточкой: 12.02.1910–02.02.2000.

До девяностолетия не добрал десяти дней (юбилей собирались отметить в Москве, по-семейному, под старым абажуром, почему-то прозванным у Салтыковых Шубертовским, без особых гостей). Срок жизни, хотя и немалый, завершился. И вот остались тетради, как уже сказано, доставшиеся

мне, хотя я и не первый их владелец, и, наверное, не последний. Во всяком случае, брать их с собой на суд Осириса – иными словами, в могилу – не собираюсь.

3

Почему Сильвестр вел эти тетради – не год и не два, а всю жизнь и почти без перерывов? Правда, был перерыв, когда сидел в одиночной камере на Лубянке – сразу после ареста. Но там, в одиночке – какая же тетрадь! – и поговорить-то не с кем. Разве что со следователем, если вызовут на допрос. Но протокол допроса – жанр несколько иной, тоже, конечно, *художественный*, но в особом роде (особенно когда умело и вдохновенно бьют по печени и почкам). На разговорную тетрадь протокол-то мало похож, поскольку в нем все по принуждению, насильно, с угрозой. Хотя если подпишешь признание, что завербован турецкой разведкой и снабжен динамитом, чтобы взрывать мосты, то иной раз и чаю с печеньем дадут, а то и водки...

Словом, на Лубянке Сильвестр побывал (как и Генрих Нейгауз, с началом войны тоже сидевший в одиночке по подозрению, что ждал падения Москвы и прихода немцев). Отсюда и пробел – прочерк – в тетради, но и то единственный, поскольку других не было (если не считать случайных и незначительных).

Тетради Сильвестр вел исправно, аккуратно и берег пуше

глаза своего. Прятал в стол при стуке в дверь и запирали на ключ...

Что это, спрашивается, – блажь, прихоть, чудачество, желание прослыть оригиналом? Или, напротив, свидетельство напряженной внутренней жизни, *духовных* (не любил он этого слова и употреблял лишь в редких случаях, не подобрав подходящей замены) поисков? Или даже стремление подражать старцам, по их примеру заградить уста и выбросить из души словесный сор?

А может, он и сам старец? Сохранилась же его фотография в монашеской скуфейке или шапочке, похожей на ту, что носил Алексей Федорович Лосев, тайный монах. Очень уж она ему отвечает, соответствует, шапочка-то, словно по его мерке сшита. Хотя на самом деле разыскал ее где-то под Карагандой, в глухом, заброшенном монастыре. Ну и примерил: истинный монах, чернец, черноризец.

Так, может быть?..

Представляю, как рассмеялся бы Сильвестр (смех у него был хороший, чистый, заразительный) в ответ на такое предположение. Стал бы отшучиваться, дурачиться, колобродить – чего доброго, налил и опрокинул бы стопку, чтобы наглядно продемонстрировать, какой он образцовый (изразцовый), многоопытный старец.

Мол, оно хорошо бы выбросить из души весь сор-то, но не выбросишь (только больше прежнего засоришь душу) – в лучшем случае доверишь бумаге.

Отсюда и тетради...

А в общем причины были разные (только не глухота – глухотой он, в отличие от Бетховена, никогда не страдал), и я о них еще расскажу. Сейчас же отмечу лишь главную, на мой взгляд, причину. Сильвестр терпеть не мог долгих разговоров (в ссылке под Карагандой он вообще почти год безмолвствовал), особенно выяснения отношений, всяких словесных дрызг и часто, прервав своего собеседника, предлагал: «Давай запишем все, что мы хотим высказать друг другу. Будет гораздо короче».

К тому же тетради заменяли ему дневник, а вот какой именно (дневник дневнику, понятно, рознь) – тут следует объясниться.

Главным дневником Сильвестра была церковная исповедь, которую он иногда предварительно записывал, чтобы ничего не упустить, хотя потом эти записи уничтожал. Но помимо главного он нуждался в дневнике второстепенном, на каждый день, на случай. Туда попадала всякая мелочь, всякая всячина, всякий вздор – тот самый словесный мусор, – в том числе и разговоры, коим он был свидетелем. Конечно, если в них что-то цепляло – хотя бы фраза, как в разговоре Шостаковича, который признался собеседнику, что ненавидит, когда останавливаются часы (страх смерти), и любит, чтобы на рабочем столе стоял стакан с папиросами.

И таких разговоров у Сильвестра записано множество. Ведь во времена его юности, в тридцатые годы прошлого сто-

летия, говорили без умолку, соловьями разливались, заходились, как тетерева на току. И в Коктебеле у Габричевского, и в Москве у Нейгауза, и в Переделкине у Пастернака, и у Юдиной в квартире на Дворцовой набережной...

Хоть и панически боялись доносов и арестов, хоть и прислушивались ночами к шагам на лестнице (дробный стук каблуков особенно не предвещал ничего хорошего), хоть и держали наготове... ну, об аккуратно собранном чемоданчике уже много сказано (чемоданчик Салтыковых хранится у меня как музейная ценность), а все равно говорили.

И разговоры были изысканные, как тот самый жираф на озере Чад, и люди – при всех их слабостях и недостатках – умнейшие и *со слухом* (хоть и не все из них музыканты). Музыка для них была страстью, предметом философского созерцания, одной из стихий, на которых держится мир.

4

Впрочем, с высот философского созерцания часто опускались на что-нибудь попроще – житейское, будничное, обыденное. И не то чтобы сплетничали, но позволяли себе, словно ненароком, обронить словечко, *пройтись*, царапнуть, ущипнуть, кольнуть. По этой части были умельцы хоть куда. Я бы сказал, *виртуозы* (раз уж речь идет о музыкантах). Даже позволяли себе посплетничать – а как же! – и это любили, но не опускались до кухонных склок, до обывательских

пересудов.

Скажем, в 1936 году много говорили о возвращении Сергея Прокофьева. Возвращении насовсем – в отличие от гастрольных наездов (побывок), коих у него было немало, и всегда его шикарно (словечко из тогдашнего лексикона) принимали, и выступал он с триумфом и овациями. Таким образом, мысль об окончательном возвращении постепенно вызревала, тем более что вся обстановка ненавязчиво (казалось бы) и в то же время властно склоняла к этому. Режим нуждался (и будет нуждаться) в знаменитых эмигрантах, вернувшихся на социалистическую родину.

Осознавал ли Прокофьев до конца, *куда* возвращался? Тем более возвращался вместе с красавицей женой, певицей, каталонкой по отцу, и прелестными мальчиками Олегом и Святославом? Думается, осознавал, да и со всех сторон предупреждали, предостерегали, нашептывали – как тут не осознавать. В его парижском окружении были такие беспощадно трезвые, желчно-скептические и проницательные люди, как Петр Петрович Сувчинский (позднее с ним переписывалась Юдина), – уж они-то знали цену режиму.

Впрочем, позднее это не помешало Сувчинскому разыграть евразийскую карту и подать прошение о возвращении в СССР. Но то был идейный выбор. Если угодно, жертва. Прокофьев, воспитанный в донецких степях, с детства запомнивший скифских каменных идолов, тоже не был чужд евразийству, хотя опасался за жену и детей, медлил, сомне-

вался, присматривался. Но, однажды приняв решение, Сергей Сергеевич не хотел от него отказываться. Кроме того, свою (роковую) роль сыграл его природный оптимизм и вера в благое начало, в конечное торжество добра – словом, во все хорошее и даже социалистическое.

Да и, как человек рационального склада, не мог допустить, что его – гения (а Прокофьев, несомненно, знал, что он гений), мировую знаменитость – могут морально уничтожить, осудить, растоптать и сослать в лагеря как врага народа. По его мнению, это было бы безумием, а безумие, бред, алогизм, кафкианский абсурд он исключал из своей картины мира.

Это был именно взгляд эмигранта. Но в Москве тридцать шестого года на это смотрели иначе, не столь оптимистично, о чем свидетельствует записанный Сильвестром разговор между тремя персонажами, явно из музыкальной среды, – Дамой, Профессором и Любознательным (их подлинных имен он не знал).

Дама (*с тонкой улыбкой*). Говорят, он купил себе роскошную квартиру. Ему предложили на выбор. От одной отказался, зато другая его устроила. Я там не была, но говорят, четыре просторные комнаты, хоромы. Роскошный рояль, изготовленный по его заказу. Нажитое имущество прибыло поездом из Парижа. Не желает ни в чем себе отказывать. Желает барствовать и жить на широкую ногу, как граф Алексей Толстой. Хочет сохранить все парижские привычки. Он ведь

по натуре франт и гурман.

Любознательный (как всегда задавая неуместный вопрос, впрочем, простительный при его наивности). А почему же правительство ему не подарило квартиру? Неужели не заслужил?

Профессор (при всем уважении к собеседникам оставляя за собой право быть немного себе на уме). Уж я не знаю, как он приобрел недвижимость и какие на этот счет законы. Не интересовался. Но, если это не было даром... полагаю, не те заслуги... Заслужить-то, возможно, и заслужил, но... не угодил.

Любознательный (радостно). Как это он не побоялся вернуться? В такое-то время...

Дама (презрительно поджав губы). А что время? Время прекрасное...

Профессор (соглашаясь, но с некоторым затруднением). Да, но вот только, знаете ли, по ночам приходят в гости, а затем... уводят и сажают.

Дама (с облегчением). Ну, это за политику. За измену. Сейчас всюду измена. Но он же музыкант...

Профессор. Не только за политику. За всякое, знаете ли... И без всякой политики могут шею свернуть. Он и не предполагает, что его ждет.

Дама. А вы не каркайте. Он, видимо, на что-то надеется...

Профессор (позволяя себе немного скепсиса). С же-

ной-то испанкой...

Дама. Каталонкой. Да, самое время таких жен заводить... Говорят, к тому же у него брак оформлен по католическому обряду или что-то в этом роде.

Профессор. Как бы это ему не аукнулось. А музыкант отменный. Вот только теперь придется вождей славить.

Дама (*удивляясь близорукости тех, кто ставит так вопрос*). Вождей? Почему же их не славить, если они вожди? Не понимаю этих интеллигентских брюзжаний. Вы часом не из бывших?

Профессор (*скромно опустив глаза*). Нет, нет, что вы! Потомственный пролетарий.

Дама. А под белыми знаменами не служили?

Профессор. Кроме столового ножа и вилки никакого оружия в руках не держал.

Любознательный (*с наивным удивлением*). Вы – пролетарий? Никогда бы не подумал.

Дама (*глядя на него сверху вниз*). А вы меньше думайте, молодой человек. Спать лучше будете. Реже просыпаться по ночам.

Профессор. Все-таки почему он возвращается?

Дама. А кому он там нужен?

Любознательный. Вот именно.

Профессор. Не скажите. Прокофьев – имя. К тому же последний мелодист. Ни Стравинский, ни Шостакович сочинять мелодий уже не умеют.

Дама (*пренебрежительно*). Наверное, взгрустнул, затосковал по России. Ностальгия. Со всяким может быть.

Профессор. Ну, вы Прокофьева таким не рисуйте. Прокофьев – не всякий. Тоске он не подвержен. У него есть щит – учение одной дамочки, учредившей «Христианскую науку». Многим помогает... Поэтому ностальгия, если она и есть, выражается у него как-то иначе. Это вам не Рахманинов. Обратите внимание на такой парадокс: Рахманинов, действительно всегда тосковавший по родине, тем не менее не вернулся, а Прокофьев, особой тоски не испытывавший, взял и вернулся.

Дама. Как вы можете судить, кто и что испытывал. Может, вы сами вернулись из эмиграции?

Профессор. Упаси боже. Что вы ко мне пристали! И все-таки почему?

Дама. Стали меньше исполнять. Упал интерес. Публика заскучала на его концертах. А у нас первоклассные оркестры, дирижеры, великолепные оперные театры...

Любознательный. Вы согласны?

Профессор. Отчасти, может быть, и согласен. Но это не главная причина.

Дама. Ну и в чем же главная? Что вы все вокруг да около!

Профессор (*уклончиво*). Вопрос деликатный...

Дама. Говорите. Здесь все свои.

Профессор. Культ Стравинского, хотя он и не мелодист. Невыносимый для него культ Стравинского. Культ, созда-

вавшийся окружением Игоря Федоровича, и прежде всего Петром Петровичем Сувчинским с его болезненной потребностью кому-то поклоняться.

Дама (*понижая голос*). Его бы к нам, этого Петра Петровича. Мы бы нашли для него предмет поклонения.

Любознательный. Что ж, Стравинский все-таки большой композитор. На Западе он царь и бог...

Профессор (*уклончиво уточняя*). Композитор не без достоинств.

Любознательный. Чем же он вам не угодил?

Профессор. А хотя бы тем, что интеллект в конце концов заменил у него музыку. На Западе они же все высококолобые интеллектуалы. Вот и Прокофьеву создали такую репутацию, что он, мол, возможно, и талантлив, но как-то, знаете, простоват. Не хватает ему интеллекта. Мол, даже великому Дягилеву не удалось его поднатаскать. Хотя евразийца они из Прокофьева воспитали, кое-какие идеи ему внушили. Но по сути это была борьба за существование, и Прокофьев продался. Язвительный, саркастичный, всему знающий цену и не скрывающий собственного мнения – в том числе и о позднем Стравинском, – рядиться под интеллектуала он не стал. И вся эта музыкальная рать во главе с Сувчинским изгнала его. Ему стало невыносимо, и он вернулся.

Дама (*думая совсем о другом*). А вы с ним знакомы?

Профессор (*слегка опешив*). С Прокофьевым? Да, немного.

Дама. Тогда скажите ему, что прислуга, какая бы она ни была честная, все равно ворует. А ему ведь для его квартиры придется нанимать прислугу. Поэтому пусть посматривает. Иной раз пусть не погнушается и серебро пересчитать.

Профессор. Скажу непременно. Вернее, намекну.

Любознательный. Я вот хотел про культ Стравинского...

Дама (*перебивая его*). А о культе Стравинского пусть лучше помалкивает. Не надо. Это как-то неуместно, право. У нас тут свой культ.

5

Сильвестр услышал приведенный выше разговор о Прокофьеве, побывав однажды в Поленове, на даче Большого театра (выражение самого композитора), где одно время обитало его семейство и сам он сочинял «Ромео и Джульетту». Там все дышит памятью о Прокофьеве, там веет его дух, и, естественно, постоянно возникают подобные разговоры.

Иное дело следующий разговор, тоже весьма любопытный, состоявшийся уже после войны, во времена гонений на космополитов. У меня нет решительно никаких сведений о том, как он попал в тетрадь. Сколько я ни допытывался у Салтыковых, они ничего сказать не могли: для них самих это было загадкой. Ясно одно: Сильвестр при упомянутом разговоре не присутствовал. Если бы это было не так, он бы,

конечно, в нем участвовал – хотя бы отдельными словечками, репликами, выражением согласия или несогласия. Но его среди участников нет. При этом разговор записан его рукой: уж почерк Сильвестра я знаю. Как разрешить этот парадокс?

Некоторые фанатичные приверженцы Сильвестра, глухие и равнодушные к его музыке, но зато готовые видеть в нем чуть ли не святого, православного гуру, считают, что он мог присутствовать среди собравшихся не телом, а духом. Иными словами, приписывают ему способность к чему-то вроде телепортации. Я лишь улыбнусь в ответ на это. Никаких способностей Сильвестра я не отрицаю, избави бог, но мне претит дух фанатизма, распространившийся последнее время.

Впрочем, это естественно: в нашем обществе все либо безбожники, неверы, либо фанаты. К тому же это не тот случай, чтобы проявлять подобные способности, а тем более выставлять их напоказ. Мне кажется, что все гораздо проще: кто-то из участников (а их было трое – Генрих Нейгауз, Александр Габричевский и Валентин Асмус) пересказал разговор Сильвестру, и он – скорее всего, по памяти – записал его.

И, скорее всего, пересказал Генрих Великий – Нейгауз, которого Сильвестр в шутку называл *кОмикадзе* – не из-за его готовности покончить с жизнью известным способом, а из-за вечного стремления комиковать по любому поводу, каламбурировать и все вышучивать. Поэтому я полагаю, что именно Гарри в своем пересказе усилил (педалировал) нотки гро-

тесной анекдотичности, свойственной разговору. Ведь что-то есть жутковатое в том, что трое друзей сочиняют для Габричевского покаянное письмо, где тот признает себя космополитом и отрекается от былых ошибок и заблуждений. При этом они, конечно, и хохмят, изощряются в острогах. Смак! Тем более что некоторые слова Генрих Великий слегка коверкал, выговаривал по-своему...

Нейгауз (*отчасти высокомерно, даже с некоторым апломбом*). Мне кажется, сначала ты должен прямо написать, какой ты весь ужасный, отвратительный, безродный и беспаспортный. Иными словами, какая ты грязная космополитическая свинья.

Габричевский (*укоризненно*). Гарри...

Нейгауз. Да, мой милый. Не дословно, конечно, но тон должен быть именно такой. Не щади себя. Лей на себя помой. Иначе какое же покаяние!

Габричевский (*глухо*). Может, как-то дипломатичнее?

Нейгауз. Кому нужна твоя дипломатия. Тебя с ней мигом упекут. Я сидел в одиночке, знаю, что это такое. Ремень от брюк отберут, чтобы ты не сделал из него петлю, не просунул в нее свою квадратную голову и не повесился. Вот и будешь брюки рукой придерживать, чтобы не сползли и не оголили твой зад. Ты этого хочешь?

Габричевский. Не приведи господь. Я вообще тюрьмы не выдержу.

Нейгауз (*без тени снисхождения*). Тогда ты должен сам

себя раздавить. Понимаешь, раздавить, чтобы они видели, как у тебя кишки наружу полезли. Поэтому пиши, что ты, как старая вонючка, как последняя *свовочь*...

Габричевский. Гарри...

Нейгауз. Ну вот, свинья тебе не нравится, *свовочь* тебе не нравится. Да что ж это такое! Как с тобой можно работать! Давать тебе благоразумные советы! Я отказываюсь! Я космополитам не товарищ.

Габричевский. Хорошо, хорошо, не кипятись. Я напишу, что питал порочное пристрастие к европейской культуре. Это тебя устроит?

Нейгауз (*кисло*). Ну, пожалуй. В какой-то мере.

Асмус. Но учти, что ты проявляешь политическую близорукость, в чем тебя сразу уличат. В той же Европе уже пробиваются ростки новой пролетарской культуры. Возьми, к примеру, Бертольда Брехта. Кроме того, там создаются компартии. Поэтому ты должен написать: к европейской буржуазной культуре. Буржуазной! А то еще подумают, что ты считаешь порочным пристрастие к пролетарской.

Нейгауз (*одобрительно*). Резонно. Совершенно верно.

Габричевский (*исправляя написанное на листке*). Добавил, что к буржуазной. Что дальше?

Асмус (*явно крючкомтворствуя*). Хорошо бы еще приписать: к загнивающей. Ведь она загнивает. Бах, Моцарт, Шекспир, Микеланджело – те уже, собственно, давно сгнили. Но гнильца подбирается и к нынешним – всяким там

Прустам...

Габричевский (*откладывая самописку и упираясь в стол вытянутыми руками*). Пруст у нас издан с предисловием Луначарского...

Нейгауз. Да, ты прав, неудобно... Ну, замени на кого-нибудь. Ты ж у нас эрудит...

Асмус (*тыкая указующим перстом в листок*). И вот еще что добавь. Это очень важно. Низкопоклонствуя перед Западом, ты отвергал все русское, злостно занижал его значение, то есть занимался идеологическими диверсиями.

Габричевский (*обиженно*). Ничего я не отвергал. Я просто не специалист...

Нейгауз. Нет, Фердинандович прав. Напиши, что отвергал...

Габричевский. Гарри, но ведь ты еще больший космополит, чем я. К тому же наполовину поляк, наполовину немец. А вот, между прочим, сколько раз ты упоминал и *цитировал*?

Нейгауз (*слегка встревожившись*). Как я должен цитировать? Говорить ученикам, что товарищ Сталин учит нас играть легато так-то, а стаккато так-то?

Габричевский и Асмус (*заговорщицки переглянувшись*). Ну, в общем-то да...

Нейгауз. Но это абсурд...

Габричевский. Нет, Гарри, давай так. Есть космополитическое, низкопоклонское, извращенное легато, а есть на-

ше, отечественное, здоровое. Боюсь, что твое легато... ты уж прости... немного того... с душком.

Нейгауз. Брось, брось. Мне твои шуточки... До меня еще руки не дошли. Нам тебя спасать надо.

Габричевский (*тяжело вздохнув*). Спасайте.

Асмус. Вот и пиши дальше, что ты осознал свои ошибки, исправился и примкнул к рядам.

Габричевский. К каким рядам?

Асмус. У нас беспартийные шагают в одном ряду с коммунистами. Стало быть, к рядам коммунистов и беспартийных.

Габричевский. Зачем мне примыкать, если я и так беспартийный?

Нейгауз. Как ты не понимаешь, квадратная голова. Нам не нужны беспартийные одиночки. От них-то все беды. Вот и ты примыкай, примыкай, а уж мы тебя поддержим.

Габричевский. Благодарю вас, товарищи.

Асмус. Лучше бы ты не благодарил, а угостил товарищей хорошим коньяком. Припас, я надеюсь?

Габричевский (*доставая бутылку*). Припас. Да только на вас не напасешься.

Нейгауз (*с боевым оптимизмом*). Так наливай!

(это слово еще преподнесет нам сюрпризец) интерес вызывают тетради у публики – узкого круга тех, кто любит отдыхать на даче Большого театра (Поленово) и умеет *вращаться*. Вращаться в околomuзыкальных сферах и обладает способностью чутко улавливать всевозможные слухи, шумы и веяния. Да, чуть-чуть где-то шумнуло, повеяло, пронесся слушок, и они тотчас распознают, угадывают, а затем словно по телеграфу... тук... тук-тук... тук...

И вот уже вся Москва знает, наслышана, перешептывается. Скажем, об иконах в спальне Николая Голованова, главного дирижера Большого театра, любимца Сталина. О хранимой им в столе церковной музыке. Или о романах Владимира Набокова, привезенных Прокофьевым из эмиграции (давал почитать знакомым – разумеется, при условии полной секретности и соблюдения всех правил конспирации).

Вот они-то, ловцы шумов и слухов, некоторым образом и вывели, что есть тетради, оставленные Сильвестром Салтыковым, и в этих тетрадях – залежи, бесценные россыпи: «Вы не поверите! Вы себе не представляете!» Всем понятно, что тут, конечно же, не обошлось без преувеличений, но все равно интересно. Свербит. И интересно главным образом потому, что тетради, по словам самых осведомленных и искушенных, проливают некий свет на создание великой Системы Сильвестра Салтыкова – Системы гармонизации знаменного распева. А кроме того, содержат разговоры с тем, кого называют его Неведомым собеседником.

Не могу утверждать, что мне доподлинно известно, кто скрывается под именем Неведомого собеседника. Я много размышлял на эту тему, мучительно пытаюсь добраться до истины, но не буду скрывать, что итоги моих размышлений – это всего лишь домыслы, версии и более или менее обоснованные догадки. Да иначе и быть не может, если собеседник Неведомый, если сам Сильвестр не захотел, чтобы он, так сказать, сбросил маску и открыл свое истинное лицо. В то же время Сильвестр не уничтожил эту тетрадь, желая, чтобы само содержание разговора стало известно потомкам, а прочие обстоятельства считая привходящими и не столь существенными.

Но то Сильвестр, мы же привходящие обстоятельства ставим подчас выше самой сути. Какой бы она ни была, эта суть, подавай нам с нею вместе и обстоятельства: никак нам без них не обойтись. А если их нет, то и суть свою забирайте назад. Не нужна она нам, постылая. Она для нас как рама без холста, как старый, разохшийся рояль с выпотрошенными внутренностями или книга с оторванной обложкой.

Некоторые из тех, кто держал в руках эту тетрадь, полагают, что Сильвестр беседовал с чертом. От этих догадок легче всего отмахнуться, хотя вполне допускаю, что рогатый мог явиться Сильвестру в облике респектабельного господина, покручивающего цепочку карманных часов и протирающего платком запотевшее пенсне. При этом в карман у него должен быть вставлен платочек, но не так, как умел Нейгауз.

Платок должен быть не первой свежести: подобные случаи нам известны. Черт, безусловно, обладает обширными познаниями, но познания эти общего характера, и я сомневаюсь, чтобы он был способен вести специальный разговор, какой ведет со своим собеседником Сильвестр.

Другие почему-то называют Маркелла Безбородого: вот, мол, явился Сильвестру и затеял с ним философский диспут, что вызывает у меня недоумение. Ну при чем здесь хормейстер Маркелл Безбородый! Он и не философ вовсе, и разговор совершенно не в его духе. Ведь речь-то идет не о пении по крюкам, а о додекафонных сериях.

Третьи, напирая на философскую сторону, называют Валентина Фердинандовича Асмуса, участника предыдущего разговора, близкого друга Нейгауза, которого Сильвестр немного знал. Даже сиживал на его лекциях в университете (впрочем, недолго). Но Асмус не был столь язвителен и циничен, как собеседник Сильвестра. Поэтому сдается мне, что это все же не Валентин Фердинандович, а Арнольд Шёнберг, последний систематизатор музыкальной Европы, вернее, его дух явился Сильвестру для специального разговора.

Тот же, кто в явления духов не верит, пусть считает, что Сильвестр ведет мысленный диалог с воображаемым собеседником. С Неведомым и воображаемым – вот все сразу и упростилось, и я могу обратиться к тетради без всякого опасения, что меня обвинят... впрочем, пусть сами обвинители отыскивают повод, чтобы привлечь меня к беспристрастно-

му и беспощадному разбирательству.

7

Неведомый собеседник (*с насмешливым превосходством*). Вступили со мной в соревнование, молодой человек? Системы изобретать вздумали? Напрасно. Хотя, как мне известно, вас когда-то хотели назвать по-итальянски, вы – неисправимый славянин, а славянский ум неспособен создать подлинную систему. Будете барахтаться, бултыхаться, как не умеющий плавать, и чего доброго – буль-буль-буль – пойдете ко дну. Система-то вас и погубит. Бросьте это дело.

Сильвестр (*стараясь не поддаваться неприязни*). Позвольте уж мне самому решать.

Неведомый собеседник (*сразу меняя тон*). Ну, разумеется, вы свободны. Решайте. Я лишь в порядке дружеского совета.

Сильвестр. Простите, не нуждаюсь.

Неведомый собеседник. Ну и славненько. Считайте, что никаких советов я вам не давал. Вы так на меня смотрите, словно хотите сказать: «В таком случае не смею задерживать». Но я с вашего позволения немного задержусь. Уж очень хочется с вами побеседовать. А то когда еще выпадет случай... Итак, вы намерены писать русскую музыку.

Сильвестр. А какую же я должен писать? Африканскую?

Неведомый собеседник. Разумеется, нет. Да и с афри-

канской у вас ничего не получится. Темперамент не тот, да и вообще... Поэтому остановимся все же на русской, хотя русскость – это нечто весьма сомнительное. К примеру, ваш Скрябин. Слушая его, и не скажешь, что «Прометея» или «Божественную поэму» писал, извините, коренной русак. У Прокофьева русскость – это лишь один период: «Сказки старой бабушки», Четвертая соната, кантата «Александр Невский», а об остальном и не скажешь, русское это или не русское. Да и вообще зачем? Русская музыка несовершенна. В ней всегда было что-то дилетантское. Писали, а до конца не дописывали: пороху, наверное, не хватало. Вот и приходилось другим за них отдуваться. Мусоргский велик, но, согласитесь, неисправимый дилетант. Все его корявости Римский-Корсаков потом исправлял, сглаживал, прилизывал, а после него страдалец и трудяга Шостакович. К тому же запоями страдал Модест Петрович, насколько я помню. И возьмите фамилию – она же от мусора. Для приличия вставили «г», ха-ха. Но «г» для вашего языка есть нечто еще более неприличное. Впрочем, я уже начал скабрешничать. Вы меня останавливайте. Даю вам полное право.

Сильвестр. Спасибо. Брукнер предпослал своей 9-й симфонии своеобразное посвящение: возлюбленному Богу. Говорят, что эти слова в рукопись партитуры вписал кто-то другой, но сами-то слова не могут принадлежать никому, кроме Брукнера, поскольку он действительно возлюбил Бога. В этом смысле он русский.

Неведомый собеседник (*платком вытирая умильные слезы*). Брукнер русский? Ха-ха-ха! Вы меня рассмешили. Благодарю. У меня со смехом как-то, знаете, туговато, а вам удалось. Спасибо, спасибо. Впрочем, должен все же заметить, что ваш русский Брукнер – старая рухлядь, такая же, как подобранная по дворам выброшенная мебель, которую вы реставрируете. Бросьте все это. Если хотите идти вперед, бросьте, бросьте. Ваша система – перепев всего отжившего, сгнившего внутри, как гниют бревенчатые стены под крашеной фанерой.

Сильвестр. Вы вслед за Ницше хотите повторить, что Бог умер или стал обычным богом?

Неведомый собеседник (*досадуя и недоумевая*). Ну причем тут Бог! Вы, как все эти новые католики, как тот же Мессиаан... Простите, но я его иногда, по ошибке разумеется, величаю Мопассаном. Мессиаан – Мопассан. Теперь ваша очередь смеяться.

Сильвестр. Благодарю, но как-то не хочется.

Неведомый собеседник. Понимаю. Вы не из смешливых. А напрасно... Смех в нашем деле помогает. Даже простодушный до глуповатости. Однако что мы все о постороннем. Давайте о вашей Системе. Все-таки в чем, по-вашему, ее суть?

Сильвестр (*вздыхая от необходимости повторять одно и то же*). Моя Система – это способ служения Богу.

Неведомый собеседник. Ой, напугали! Ой, боюсь! А ес-

ли я, допустим, в Бога не верю? Что мне тогда ваша Система? Фук? Вы уж как-нибудь иначе постарайтесь растолковать. Я смысленный – как-нибудь пойму. Значит, вы обходитесь без пяти линеек, без мажора и минора, и у вас не тональности, а лады. Или скажем иначе: ваша Система – найденный вами способ гармонизации знаменного распева. Ну и что здесь нового? Да чуть ли не каждый русский композитор пытался. И Чайковский, и Рахманинов, и этот старый педант Римский-Корсаков...

Сильвестр (*устало и безнадежно*). Именно пытался. Я же исхожу из точного знания, из метода...

Неведомый, собеседник. Нет, батенька, метод вы уж оставьте мне, грешному. Туточки уж я специалист. У вас, русских, какой уж там метод!

Сильвестр. Позвольте возразить, однако.

Неведомый собеседник. Возражайте сколько вам угодно. Здесь вы ничего не измените. Я ушел от тональности и открыл новый музыкальный континент. Новую Америку. А вы что открыли? Старую, дряхлую Индию?

Сильвестр. Я открыл... я открыл истину. Истину музыкального языка, с помощью которого можно разговаривать с Богом.

Неведомый собеседник. Истина, Бог... нет, вы неисправимы. Но выводить музыку на такие универсальные категории в наше время банально и пошло. Музыка тяготеет к некоей прикладной сфере. Время абсолютных высказыва-

ний в духе Вагнера, того же Брукнера, Малера прошло. Собственно, они теперь и не нужны. Пожалуйста, забирайте их себе.

Сильвестр. Что ж, благодарю... А вам кого взамен?

Неведомый собеседник. Шнитке, пожалуй, подошел бы, ваши авангардисты...

Сильвестр. Вам оптом или в розницу?

Неведомый собеседник. Ну вот, разобиделись... Кажется, я вас утомил, старый болтун.

Сильвестр. Нет,нисколько...

Неведомый собеседник. Куда же вы заторопились? А в шахматы? А пулечку расписать?

Сильвестр. Как-нибудь без меня.

Неведомый собеседник. Брезгаете. Жаль, жаль. Что ж, прощайте... Надеюсь, еще встретимся. На спектакле «Леди Макбет», в ложе со Сталиным, ха-ха.

Тетрадь вторая.

Нейгаузы и Пастернаки

1

А вот и сам Маркелл Безбородый, беседует с Сильвестром о древнерусских знаменах или крюках. Все-таки явился Маркелл, но не как призрак, поскольку не подобает православному, да еще и уставщику, распевщику, блюстителю исконно русских певческих традиций, поддаваться бесовской лести и оборачиваться срамным видением – призраком. Хотя будем справедливы: не только бесы являлись, но и святые, и тут тонкое умение – опытность – требуется, чтобы распознать, от Бога или от лукавого явившийся дух.

Я подобной опытности лишен, распознавать духов дара не имею, поэтому меня лукавому обвести вокруг пальца не трудно. Вот и не буду рисковать, не буду вводить в искушение ни себя, ни благонравного читателя и удовлетворюсь тем, что разговор Сильвестра с Маркеллом Безбородым воображаемый.

Поэтому Маркелл подчас произносит то, что могло обрести словесную форму лишь в двадцатом веке. Он – выразитель дум и чаяний самого Сильвестра, а Сильвестр – носи-

тель и провозвестник идей Маркелла.

Однако ловко я повернул (вывернул): у Сильвестра – думы и чаяния, а у Маркелла же – идеи, как будто он не игумен Хутынского монастыря, а профессор университета в Кёнигсберге. Казалось бы, должно быть наоборот. Ан нет, наоборот-то и не выходит, поскольку у Сильвестра века не разведены по вертикали, как ветки по стволу дерева, а друг в друга вложены.

Поэтому думы Сильвестра аккурат совпадают с идеями Маркелла. Вернее, думы Маркелла с идеями Сильвестра... думы с идеями... идеи с думами... вот я и сам сбился, запутался, заморочился. Лучше открою тетрадь и прочту: так-то яснее будет.

Сильвестр. А скажи, Маркелл, как ты это разумеешь: в чем разница между *петь* и *выпевать*?

Маркелл Безбородый. А в том, родимый, что поют звуки, а выпевают Слово.

Сильвестр. Значит, в знаменном распеве Слово-то и есть главное?

Маркелл. Наиглавнейшее. Ничего главнее нет. Поэтому и выпевают Его строго в унисон.

Сильвестр. А раз так, то распев – это и не музыка, не музыкальное сочинение, имеющее начало, середину, то есть кульминацию, и конец.

Маркелл (*убежденно подтверждая*). Ни в коем разе не сочинение.

Сильвестр. Что же тогда?

Маркелл. Литургия. И знаменный распев, и чтение Евангелия, и иконы, и каждение – все есть Литургия. Единое целое. Неделимое на части.

Сильвестр. А как же чувства поющего, его голос, вокальное мастерство?

Маркелл (*с укоризной*). Эка чего выдумал! Ты же не на концерте, а в Храме на Литургии. Чувства-то и придержи и голос свой не показывай. Не выставляйся, а выпевай вместе со всеми, соборно. Будто сам сего не знаешь. Не новичок же...

Сильвестр. Не новичок, но иногда хочется уточнить, себя проверить...

Маркелл (*поощряя, как учитель любознательного ученика*). Благое дело. Уточняй.

Сильвестр. Поскольку распевается Слово, и к тому же в унисон, то, стало быть, пение – та же молитва?

Маркелл. Никаких сомнений. И молитва, и икона, и даже ладан в кадильнице. Потому-то знаменный распев будет вечным и, пока стоит Святая Русь, никогда не исчезнет.

Сильвестр. Исчез уже... Патриарх Никон заменил унисон на партесное пение, на концерт...

Маркелл. А старообрядцы?

Сильвестр. Разве что... но их немного. Горстка, да и то все в скитах скрываются, затворничают, таятся...

Маркелл. Немного, но удержат, не дадут исчезнуть. А

там и музыканты подхватят...

Сильвестр. У наших музыкантов нынешних две забавы: джаз и серия.

Маркелл (*прикладывая ладонь к уху*). Чевой-то?

Сильвестр. Джаз от американских негров к нам занесло, а серию – от австрияков.

Маркелл. И что же она серия собой представляет?

Сильвестр. Аккурат двенадцать звуков.

Маркелл. И ни один не повторяется?

Сильвестр. Угадал. Точно. А раз не повторяются, то и завершения нет, то бишь *тоники*, если по-ученому.

Маркелл (*отводя ладонью оговорку Сильвестра*). Ты насчет моей учености не сомневайся. Я вон сколько книжек навалял – всех не перечитаешь. Поэтому так тебе скажу. Все двенадцать твоих свободно висят в пространстве, как ночные звезды.

Сильвестр. Да ты еще и поэт!

Маркелл (*увлекишись*). Ухо ждет завершения, а его и нет. Нетути. Вот и выходит не распевание, а... распивание.

Сильвестр. Что за распивание?

Маркелл (*со смешком*). Распитие. Распитие браги хмельной, иначе от этих висяков свихнуться можно. Шучу, шучу.

Сильвестр (*трогая бородку*). Уразумел, что шутишь. Хотя здесь не смеяться, а плакать надо. Наши-то так и стараются если не джазу подпустить в свои симфонии и квартеты, то серию непременно где-то вернуть. От этого соблазна

даже великие не могут удержаться – Шостакович и Прокофьев. Знаменный распев же – это Рахманинов. Его одного не купишь ни джазом, ни серией, раз он на колокола богат.

Маркелл (*ему не понравился такой счет*). Его одного... Неужели Русь-матушка оскудела? Других, что ли, вовсе нет?

Сильвестр. Есть Чайковский, Римский-Корсаков... Ну и помельче – Гречанинов, Кастальский, но главный здесь Рахманинов, создатель «Всенощной». Да и не только «Всенощной»... Знаменный распев у него по многим произведениям проходит. В нем душа его музыки, сокровенная тайна...

Маркелл. Недаром его Шостакович и Прокофьев так не любили.

Сильвестр. Ты и это знаешь. Я сам помню, как в консерваторском классе Шостакович собрался однажды с учениками «Всенощную» Рахманинова слушать, да и не смог. Бесы в нем возмутились. Восстали, как большевики в Петрограде. Корежить его стало. Шучу, шучу.

Маркелл. Хорошо, Рахманинов... Ну а сам ты? О себе-то что молчишь? Не смеешь сказать?

Сильвестр (*иноческая борода, пронзительная синева в глазах*). Не смею.

2

О себе промолчал. Из смирения промолчал, понятное дело. Не станет же он себя выпячивать, восхвалять перед Мар-

келлом и свои заслуги расписывать.

Но о двух искушениях нынешней музыки – джазовом и серийном – сказал определенно и с сознанием собственной правоты. Замечу, правоты, основанной на опыте. Да-с. За это ручаюсь, потому как сам был свидетель умиленный. Сколько чужих партитур через его руки прошло! Сколько просидел он, сутулясь и листая их под лампой – и печатные, и испи-санные от руки!

И в каждой третьей-четвертой – джаз или серия. Замаски-рованные, зашифрованные, глубоко запрятанные, нет-нет, да и выглянут, рыльце свое глумливое покажут. Натек-ка, полюбуйтесь, какие мы! А как же иначе: джаз и серия – при-знак респектабельности, хорошего тона. Как говорят фран-цузы, комильфо.

А что же знаменный распев? Ему бы и стать третьим нача-лом (но не соблазном), воцариться, восторжествовать. Про-бовали. Пробовали и в Петербурге, и особенно в Москве... и Чайковский, и Римский-Корсаков, и Николай Семенович Голованов, но джаз и серия все забили, заглушили, заполо-нили, как лопух, как репейник, как борщевик...

Это не мои слова. Я лишь вторю тому, что слышал от Сильвестра.

Известно, что с борщевиком (большевиком) не поборешь-ся, не одолеешь: нужны героические усилия, чтобы его из-вести. А Сильвестр все равно боролся, изводил его как мог. Может, не надо было? Я задавал ему, словно бы ненароком

(стирая пыль с рояля), этот вопрос.

Признаюсь, я ведь и сам тайный (для Сильвестра) поклонник джаза. Да что там я! И Игорь Федорович Стравинский баловался, и Сергей Сергеевич Прокофьев, Дмитрий Дмитриевич Шостакович заигрывали, прикидывали и примеривались. Прокофьев привез из Парижа великолепную, изысканную по подбору коллекцию пластинок американского джаза – от Дюка Эллингтона до разных редкостей и диковинок. Шостакович подобным сокровищем не обладал, пробавлялся тем, что удавалось достать, но тоже старался не пропускать новинок.

А уж про рядовую интеллигенцию нашей совдепии я и не говорю: она на джазе воспитывалась, взрослала. словно на дрожжах на нем взошла. Для нее джаз – это, помимо всего прочего, фронда, протест, демонстрация неповиновения. Хотя чего там не повиноваться, если среди советской элиты были поклонники джаза – такие как Юрий Владимирович Андропов, глава могущественного КГБ.

Так, может, не надо? Сильвестр мне не возражал, а лишь водил при случае показывать поле возле деревушки Захарьино, неподалеку от Купавны, сплошь заросшее борщевиком (жуткая картина). И писал свою музыку – по тогдашним условиям, в стол, под сукно.

Ради чего? Ради возрождения и конечного торжества знаменного распева. Это мои слова. Сильвестр себе бы не позволил, не стал бы впадать в подобный пафос. Пафосники,

слагатели гимнов, славящих державу, для него, как и для Николая Семеновича Голованова, любителя скоморошьего лексикона, – гимнюки. Он же все больше отшучивался, юморил, каламбурил: «Все мы встанем под знамена знаменного распева». Каково! Под знамена он встанет! Хоругвь с портретом вождя понесет!

Отчебучит такое и ждет, когда я засмеюсь, сам же даже не улыбнется. Лишь тронет бородку и опустит глаза. Поищет, чем бы занять руки.

3

Итак, Сергей Прокофьев, Неведомый собеседник (Шёнберг), Маркелл Безбородый... вот интрига-то и завязывается. Ну и помимо этих троих тетради Сильвестра своей интригующей притягательностью во многом обязаны N и P – Нейгаузам (о Генрихе Нейгаузе и его друге Габричевском я уже немного рассказал) и Пастернакам со всем их причтом, то бишь окружением. Благодаря своей бабке и одному из дядюшек Сильвестр был о них не только наслышан, но даже с ними знаком, вхож в дом, что называется: «Ах, это вы, Сильвестр! Рады вам. Проходите. Спасибо, чудесные розы. Принесли новое сочинение?»

Таковыми словами его встречали. И улыбка была изысканно любезной, и в протянутой, слегка изогнутой руке с собранной на косточке обнаженного локтя персиковой, умощенной

дорогими кремами кожей угадывалась итальянская грация.

До сочинения еще дело дойдет, снизойдут, выслушают с убежденно-скупающим видом (а может, и не дойдет – зависит от настроения). А пока Сильвестр удостоен чести сидеть за столом, почтительно принимать из рук хозяйки чашку только что налитого пунцово-красного чая, внимать остроумам и каламбурам хозяина.

Внимать, если тот в ударе, разумеется, и сам это чувствует, упоенный собой, красивый, с великолепной шевелюрой, поднятой надо лбом, словно выгнутое крыло птицы, с алым румянцем, уподобляющим его распутившейся розе (недаром близкий друг Нейгауза, «квадратная голова» Габричевский не уставал влюбленно повторять: «Гарри – это роза!»).

При этом Генрих Густавович очаровательно пришепетывает по-польски, со старомодной почтительностью целует ручки дамам, и при смене выражений глаза загадочно меняют свой цвет, кажутся то карими, то зелеными, то синими...

Сильвестр допущен и в святая святых – кабинет Нейгауза, куда тот удаляется, чтобы побренчать немного, по его собственным, небрежно брошенным словам. Но бренчит он великолепно, хотя, что греха таить, частенько мажет, путается, забывает, но все равно – великолепно, и Сильвестр восхищен, заморожен и подавлен его мастерством (сам он всегда играл суховато, по-композиторски).

Точно так же и с Пастернаком: Сильвестр, бывает, удостоивается чести, допускается в святая святых, но на этот раз

в кабинет не столько музыканта, сколько поэта, где особый сумрак и тишина. Издалека доносится колокольный звон церкви Спаса-Преображения, окно наполовину залеплено снегом, сосульки свисают с карниза, синицы расклевывают хлебную корку на перилах крыльца. И Борис Пастернак своим гудящим голосом, слегка привизгивающим на верхних нотах, читает только что начатый роман «Доктор Живаго»...

Поэтому Генрих Нейгауз и Борис Пастернак – тоже герои этих тетрадей. Их рукой в них немало вписано. «Душенька, я сегодня нездоров. Давайте посидим и помолчим» (Нейгауз). «Давайте говорить. Сегодня такой день, что хочется говорить. Обо всем. Откровенно. Достаточно я намолчался. Напишите, что вы меня любите и никогда не предадите, не станете избегать, обходить стороной. А впрочем, предавайте. Что на меня любоваться! В отличие от Гарри, я же не роза!» (Пастернак).

4

Итак, Нейгауз и Пастернак – герои разговорных тетрадей, хотя в приведенных только что записях один говорит, а другой молчит. Но добавлю, что есть и героиня – жена Нейгауза, великолепная и деспотичная (несмотря на итальянскую грацию) Зинаида Николаевна, которую Пастернак у него увел, сохранив с ним самую возвышенную, благородную и пылкую дружбу.

Благодаря этому грация не обернулась – по Достоевскому – гряздой. Хотя что скрывать: Достоевский тут угадывался, навязчиво маячил. Да и то – какая же русская семейная драма без Достоевского! Без него никак нельзя. Нельзя-с!

Вот и Борис Леонидович мучительно, жутко, до кошмарных галлюцинаций ревновал Зинаиду Николаевну к ее прошлому – не с Гарри (у того помимо первой была и вторая семья, первая же воспринималась как нечто необременительное, не налагающее особых обязательств, нечто... *помимо*).

Нет, Пастернак страдал из-за того прошлого, которое у Зинаиды Николаевны было до Нейгауза, было с другими, водившими ее, юную и уже порочную, по номерам гостиниц, как адвокат Комаровский – в него влюбленную и ненавидящую его Лару, героиню «Доктора Живаго».

Тут снова Достоевский. Комаровский – это, конечно же, сластолюбивый совратитель Тоцкий, с которым жила юная Настасья Филипповна, героиня романа «Идиот».

Пастернак. Послушай, Гарри. Я должен объясниться с тобой, хотя, признаться, для меня это мучительно трудно. Так вышло. Ты сам виноват, что выбрал такую жену. В нее нельзя не влюбиться. Не влюбиться в нее про-ти-во-ес-тест-вен-но.

Нейгауз (*с недоумением, показывающим, что он выше любых запретов*). Влюбляйся, пожалуйста. Кто ж против! Не ты первый. Все влюбляются. А ты еще и стихи напишешь.

Пастернак (*чувствуя повод взорваться, но сдерживая*

себя). Либо ты меня не понял... вернее, не захотел понять, либо ты непростительно, преступно великодушен. Скорее первое.

Нейгауз (*с веселенькой обидчивостью*). Неужели я такой дурак, что уже ничего не понимаю. И не замечаю!

Пастернак. Если замечаешь, тем лучше. В таком случае не обессуди. Это не влюбленность, какой тебе хотелось бы... Это, прости меня, гораздо большее.

Нейгауз. А что у нас больше влюбленности?

Пастернак. Тебе лучше знать.

Нейгауз (*надолго задумавшись*). Любите ее, Борис Леонидович? Поздравляю.

Пастернак. Так случилось, Гарри. Это как помешательство. Что я могу поделать.

Нейгауз. Преданный друг, называется...

Пастернак. Не казни.

Нейгауз. Казнить не буду, но и миловать не могу. Забирай ее, и катитесь к черту. Но смотри. Стать моим врагом я тебе не позволю.

Да-с, такие были люди – не нам чета (да и Борис Леонидович, человек уступчивых и неуклонных компромиссов, отличался особым умением все делать с честным лицом). И тетради Сильвестра доносят до нас отголоски этой драмы или, если угодно, этой *комедии* (в дантовом смысле, разумеется).

Впрочем, у Нейгауза тогда была уже вторая семья... Хотя

я об этом уже говорил. Говорил, но и повторить не мешает.

5

Судя по тетрадам, Сильвестр был вхож и к Александру Габричевскому, блистательному умнице, женолюбу, выпивохе и весельчаку. Совсем молодым, двадцатилетним гостил у него в Коктебеле. Застал там Волошина (даже запечатлен Максимилианом Александровичем на одной из прозрачных, нежных акварелей). Секретничал с его матерью, прозванной Пра, обожавшей сына, носившей длинный балахон и допрашивавшей Сильвестра, кто в кого влюблен, кто от кого ушел, кто кому изменил. Выпивал с ней. Пра любила хороший коньяк, но, чтобы не перебрать, наливала его в наперсток и отпивала мелкими глоточками, поджимая губы так, словно слюнявила нитку перед тем, как вдеть ее в иглоку.

Также Сильвестр был вхож и на *верхушку* (верхние комнаты дома) к Алексею Лосеву, у которого до его ареста собирались имяславцы, считавшие, что Имя Божие есть Бог, и к Марии Юдиной, но не столько в дом, сколько... в Храм, где она, никогда не отрекавшаяся от веры, молилась и пела на клиросе.

Вот уж истинная героиня, хотя и совершенно другого романа. Нейгаузы и Пастернаки были ей не чужды. С Пастернаком она встречалась и переписывалась, иногда позволяла себе критиковать Бориса Леонидовича, но при этом востор-

женно и упоенно читала на своих концертах его стихи. Нейгауза ценила как музыканта, хотя как личность воспринимала снисходительно и с немалой долей иронии, считала легкомысленным болтуном и занимала у Гарри деньги (тот по доброте своей никогда не отказывал, напротив, сам охотно предлагал). Все-таки истинного дружества, такого, как с Михаилом Бахтиным, у Марии Вениаминовны с Пастернаком и Нейгаузом как-то не возникало.

Мария Вениаминовна была резка и обидчива – даже на Стравинского умудрялась обижаться, хотя и превозносила его, носилась с ним как с гением, не знала, как ублажить (и в конце концов сама же сотворила из него деспота и мучителя). К тому же Стравинский по убеждениям был русским националистом, равнодушным к религии, особенно в ее обрядовой форме, Юдину же властно притягивал церковный мир. Покрыв платочком голову, она смиренно выстаивала долгие службы, чувствовала себя своей среди простых прихожанок, готовых там мыть полы и выполнять любую черную работу.

Нейгауз и Пастернак – не прихожане. В точности не известно, был ли крещен Борис Леонидович. Генрих Густавович любил при случае красиво порассуждать о Библии, блеснуть образованностью, но не более того. Поэтому Нейгауза и Пастернака Юдина немного отпугивала, и вовсе не своими чудачествами, эксцентричностью и сомнамбулизмом, как принято считать (да и сама называла себя сомнамбулой).

Нет, за ней – за ее обличениями – им словно бы чудилась тень Савонаролы, грозящего адскими муками всем, кто не припал со смирением к церковным ступеням.

Впрочем, у них был свой Савонарола, пострашнее флорентийца, и тот однажды звонил Борису Леонидовичу, о чем потом с суеверным ужасом перешептывалась вся Москва. И Сильвестр записал этот разговор в своей тетради, и его версии вполне можно доверять, поскольку он всегда старался быть точным и ручаться за каждое слово...

6

Возможно, для второй тетради эти подробности могут показаться излишними. Привожу их, дабы показать, что я тоже не лыком шит (ха-ха!) и мне есть чем заинтриговать публику, падкую на такие приманки. Сейчас ведь перед публикой надо заискивать, заигрывать с ней, расшаркиваться, делать реверансы. Почтительно (угодливо) кланяться и обметать шляпой пыль у ее ног.

Вот и мне поневоле приходится...

Но я, признаться (так же как и Сильвестр), не особый охотник до подобных игр. Недаром в тетради записано, как Генрих Великий однажды иронически-высокомерно и безапелляционно заговорил с Сильвестром о славе.

Нейгауз. А почему, душенька, нынче слава? Ты не справлялся?

Сильвестр. Говорят, подешевела. Отдают за копейки.

Нейгауз. Вот-вот, и я слышал. Как бы это поточнее разузнать?

Сильвестр. А вам зачем? Вы и так знамениты...

Нейгауз. Я бы, может, и приобрел. Лишняя слава не помешает. Все-таки учеников воспитываю... Книгу написал... Все еще выступаю иногда, бренчу на рояле... Потрудись, голубчик. Потолкайся на рынке. Разузнай. Тебе это, пожалуй, тоже полезно.

Сильвестр. На рынке?

Нейгауз. Что ты удивляешься! Слава – это рынок.

Сильвестр. А в каком ряду?

Нейгауз. Пожалуй, в цветочном, где розами торгуют. Хотя корзины роз – это еще не слава. Потолкайся лучше в овощном...

Сильвестр. А в овощном-то что?

Нейгауз. В овощном-то? А там гнилые помидоры продают. Как запустят в тебя гнилым помидором, как по лицу у тебя потечет, вот и будет тебе истинная слава... *(После этого Генрих Густавович долго – до слез – смеется, вытирая платком глаза.)*

Вот и я не охотник, хотя в этих играх так легко заработать себе лишние очки. Заработать очки, сколотить капиталец, с выгодой пустить свои денежки в оборот, разбогатеть и даже прославиться.

Я ведь усиленно хлопотал о ней, о славе-то – если не своей

собственной, то славе Сильвестра Салтыкова. Но увы: Сильвестр усвоил урок Нейгауза. Слава ему была не нужна. Он мыслил свою музыку даже не авторской, а церковной. И – что там слава! – готов был отказаться от собственного имени, лишь бы его пели в храмах.

Что ж, тогда позвольте мне, грешному и убогому, чуть-чуть прославиться. Прославиться хотя бы как владельцу этих тетрадей (а я все-таки владелец и не спешу передать их в архив или выставить на аукцион!).

Мне ведь завидовали, у меня выманивали, сулили немалые суммы. Наследники моих героев так вокруг и вились, клубились, семенили за мной мелким бесом: «Вы уж, пожалуйста... подарите или продайте. Мы вам очень хорошо заплатим. Называйте цену, а дадим вдесятеро». Пытались украсть, домушничали, отмычкой замки открывали – вот до чего доходило.

Но не получилось: надежно спрятаны тетрадочки. Ангел с пламенным мечом обращающимся рядом поставлен. Сверк! – и руку долой по локоть, а то и по самое плечо. Не забалуешь.

И еще два слова о тетрадах, раз уж мне позволено. Даже не столько о тетрадах, сколько о связанных с ними побочных обстоятельствах, которые при ближайшем рассмотрении могут оказаться вовсе и не побочными...

Впрочем, я заболтался (как в иных случаях Нейгауз). Поэтому добавлю всего два слова о тетрадах. Два слова – и за-

молкну.

Я менее всего склонен окутать историю их чудесного обретения туманом ложных вымыслов, интригующих недомолвок и намеков. Касаясь этого предмета, я старался быть предельно откровенным, как это мне и свойственно, и не уклоняться от той простоты, которая довольствуется двумя-тремя штрихами, чтобы передать самое главное. Поэтому я не играл словами, не жонглировал ими, как кеглями, кольцами и мячиками, и не позволял себе увлечься красноречием, хоть сколько-нибудь затемняющим смысл моих высказываний.

Не обессудьте: так уж воспитан.

Словесная патока, засахаренная пробка в горлышке стеклянной бадейки (ее приходится пробивать ложкой, чтобы добраться до варенья) были мне так же противны, как скипидарно воняющая вакса, которой смазывают сапоги, чтобы затем отзеркалить их щеткой.

Нет, никаких затемнений, никакого засахаренного варенья!

7

Я всегда исповедовал тот же принцип, что и сам Сильвестр: стремиться к полной ясности или, как он любил говорить, к трезвению ума. Так же как и он, я ненавидел любые попытки взискать истину умом нетрезвым или вовсе скрыть ее, превратив в замутненное от несвежего дыхания стекло:

было чистым и прозрачным, но мы дохнули и напустили туманцу. Какие бы формы и очертания ни принимал этот туманец, какая бы ни блазилась за ним райская услада и благодать, Сильвестр отзывался о нем с беспощадной иронией, язвительным сарказмом и даже несвойственной ему издевкой.

Вот почему он так не любил Стравинского, особенно позднего (после «Весны священной»). Сильвестр называл фиглярром, шутром гороховым, шарлатаном и считал высшим достижением его творчества завидное умение, ахнув бутылку водки, отплясывать на столе отчаянный канкан.

Отплясывать, тряся фалдами фрака и вскидывая ноги на манер кокоток кабаре.

Сильвестр не мог понять, почему мудрейшая Юдина носится со Стравинским, млеет и благоговеет перед ним, хотя почти все написанное им – труха (так Прокофьев отозвался о «Жар-птице»). Мария Вениаминовна возмущалась, негодовала, не позволяла в ее присутствии осквернять драгоценное имя.

Часто даже в гневе топала ногами (звенели чашки в буфете), затыкала ватой уши и указывала Сильвестру на дверь: «Слышать не желаю! Вон! Немедленно вон!»

Сильвестр не заставлял себя упрашивать и послушно ретировался. Правда, при этом не отказывал себе в удовольствии напоследок церемонно поклониться, а затем хлопнуть дверью так, что сотрясались стены Юдинской кельи и сры-

вались с шаткого гвоздика любимые фотографии Марии Вениаминовны, подаренные Им Самим (Стравинским, разумеется).

Так они в очередной раз ссорились – ссорились навсегда, и должна была пройти неделя, чтобы они вновь помирились. Хотя стоило Сильвестру услышать, как Юдина осторожно и вкрадчиво наигрывает на рояле «Жар-птицу», и он снова не мог это вынести, затыкал уши и кричал: «Труха! Труха!»

От охватывавшего его негодования и возмущения у него в ту пору даже случались мучительные горловые спазмы и судороги – наследственный недуг, передавшийся ему по материнской линии. И я сам свидетель тому, что он часто терял голос (записи в разговорных тетрадах делались тогда по этой причине).

Какой печальный парадокс! Сильвестр Салтыков всегда просил у Всевышнего долголетия, опасаясь, что ему не хватит времени для воплощения всех замыслов (и прежде всего создания грандиозной Полифонической симфонии, которую никто не смог бы исполнить, поскольку Сильвестр намеревался записать ее древнерусскими крюками или знаменами). И Господь исполнил его *долгою* дней, но долголетие стало для него несчастьем. Не то чтобы под конец он устал от жизни, как Гарри Нейгауз, признававшийся, что собственное бытие становится для него тяжелой обузой, но доживать свой век ему пришлось в столь чуждое время, и чуждое прежде всего тем, как разлился повсюду ненавистный грязновато-се-

рый туманец.

Тут уж дело не в Стравинском. Что Стравинский, если все вверх дном!..

Сейчас ведь у нас это так любят: за истину никто не поручится, возиться с ней не станет (неприбыльное это дело, да и есть ли она, истина?), а ты нам грязнотцы подавай! И такой, чтобы была с запашкой и в нос шибала. И чтобы сам Федор Михайлович в гробу перевернулся.

И будь уверен, что не побрезгуем, нос воротить не станем, – напротив, в нее, грязнотцу-то, и уткнем, насладимся вволю, надышимся, ибо она для нас слаще меда.

Но нет!

Я, преданный ученик Сильвестра Салтыкова, от истины не отрекаюсь. Ведь я опекал его как нянька, отвозил домой после загулов и ресторанных кутежей и сдавал на руки ма-тушке Елене Оскаровне, к тому времени уже согбенной и побелевшей старушке.

8

Елена Оскаровна (*с испугом и изумлением*). Какой ужас! Где вы его подобрали?

Я (*с показным безразличием*). Возле ресторана «Прага». Он пытался остановить такси.

Елена Оскаровна. Его еще в детстве тянуло к вину. К тому же его отец... Впрочем, не буду.

Я. И правильно. «Раз ему нужно это испытать, через это пройти...»

Елена Оскаровна. Вечно вы его оправдываете! Выгораживаете!

Я. Да ведь это ваши слова!

Елена Оскаровна (*недоверчиво*). Мои? Неужели я такая мудрая мать?.. Уму непостижимо.

Я (*торопясь дать нужные рекомендации*). Уложите его. А завтра утром налейте ему рюмку, чтобы он не страдал и не мучился с похмелья. Но только рюмку – не больше.

Елена Оскаровна. Нет уж, это вы сами. Я ему никаких рюмок наливать не буду. Лучше я с горя напьюсь. Где он деньги-то берет?

Я. У друзей занимает. Однажды у самого Николая Яковлевича Мясковского – своего консерваторского профессора – одолжился. Тот не отказал, добрейший и деликатнейший человек. Зато Сильвестр дарил ему к дням рождения галстуки, ноты и грибные корзины, чтобы тот не рассовывал найденные грибы по карманам и не завертывал их в носовой платок.

Елена Оскаровна. Ну уж это вряд ли... Подарить-то он может, но мой сын слишком горд, чтобы одалживаться. Вы, наверное, его кредитуете...

Я. Бывает и так. По мере возможностей.

Елена Оскаровна. А что за девицы с ним?

Я. Разные... Есть и бывшие монахини, и бывшие актрисы.

Елена Оскаровна. Откуда он их берет?

Я. Они сами его находят.

Елена Оскаровна. Жениться не собирается?

Я. Нет. Для него пример – одинокий Мясковский, верный рыцарь музыки. А если женится, то лишь с вашего благословения.

Елена Оскаровна. Спасибо. Успокоил.

...Лет через семь, за год до войны, я отправлял Сильвестру в лагерь посылки с едой и теплыми вещами. Судя по письмам, он уже был не тот, что раньше. Исхудал. Посуровел. А когда его сослали под Караганду, где он покался и обратился, то я как добровольный келейник служил Сильвестру в его одиноком молитвенном затворничестве (запасал дрова, собирал ягоды, сушил грибы, ставил перед дверью чугунок с кашей).

Поэтому не отрекаюсь, нет.

Напротив, готов постоять за истину – поручиться и откровенно всем поведать, как мне попали в руки эти тетради. Да, готов, готов в любую минуту, лишь бы нашлись желающие выслушать, пусть даже обмануть меня выражением показного сочувствия и притворной участливости, ведь я сам обманываться рад.

Но куда там – слушать-то никто и не хочет: как это часто бывает, *неподдельный* интерес оказывается грубой, аляповатой подделкой. Зато все помешались на том, чтобы плодить и множить свои собственные фантастические домыслы и до-

гадки о происхождении тетрадей.

Иными словами, самозабвенно высидивать яйца, снесенные химерой – курицей с ослиной головой, ястребиным клювом и павлиньими перьями.

Тетрадь третья.

Русский англичанин

1

По самому распространенному мнению, Сильвестр Салтыков завещал мне эти тетради, о чем якобы свидетельствует документ на трех страницах, заверенный купоросным старичком нотариусом, прошитый красным шнурком и скрепленный сургучной (цвета забродившей винной ягоды) печатью. И якобы хранится этот документ в моем банковском колумбарии, под наборным замком, что доказывает мою избранность, мою особую близость к учителю, мое, если угодно, апостольство.

Я бы, конечно, хотел – даже мечтал, чтобы это было так. Но, увы, если и способен быть служкой и нянькой, выставить перед дверью чугунок с кашей (или распаренной репой), в апостолы все же не гожусь и подобной чести не достоин.

Не достоин, хотя Сильвестр Салтыков и пробовал возводить меня в апостольство. Он терпеливо, методично, по своей системе занимался со мной крюками и знаменами, учил их названиям, подробно втолковывал, в чем отличие *Пути*

от *Демества*. Но – при всем моем почтительном отношении к знаменному распеву – мне эта наука (если честно, без лукавства) давалась с превеликим трудом.

Впрочем, буду до конца откровенен: совсем не давалась.

Иной раз упарюсь и взмокну, толку же никакого – что твой отрок Варфоломей до явления ему старца. Уж я, простите, привык к обычным пяти линейкам – до, ре, ми, фа, соль. А всякие там *голубцы, стрелы, киноварные пометы* – для меня темный лес, непроходимые дебри.

Я и службы-то церковной до конца выстоять не могу. Все малодушно и воровато поглядываю по сторонам, куда бы присесть (ноги гудят и подгибаются).

А уж подпевать моим дрожащим, козлиным тенорком хору и вовсе не пытаюсь.

Избавьте! Увольте!

2

Но не гожусь не только поэтому, а еще и потому, что никогда не дерзал уподобиться учителю в главном священнодействии – сочинении музыки. Тайком, для себя я, может быть, что-то и пробовал черкнуть и набросать, марал нотную бумагу. И даже по ночам, когда пламя свечи выхватывало из аспидной тьмы резной пюпитр рояля, часть пожелтевшей от времени клавиатуры, граненую, рюмочно-тонкую у основания ногу с раздвоенным медным колесиком, туск-

ло мерцавшие педали, разведенные головками в противоположные стороны, и полную окурков мраморную пепельницу, когда кружилась голова от лихорадочных восторгов и упоения собственным творчеством, готов был произвести себя в гении.

Но утром, стоило зыбко высветиться, а затем окраситься в цвет раздавленной клюквы краю облачного неба, от моих восторгов ничего не оставалось. Я сам себя разжаловал из гениев в рядовые. Мне не хотелось смотреть на измаранную за ночь нотную бумагу. Я все зачеркивал, комкал и выбрасывал в корзину.

Нет, не дано, не сподобил Господь, не стоит и пытаться.

И уж, конечно же, ничего из написанного учителю я не показывал – упаси боже. И не потому, что так уж боялся разноса: нет, причина в другом. Чего греха таить – я ведь *преступил*: был у меня такой период (к счастью, недолгий). Был, был – чего уж там – поддался я наваждению (от сознания собственного бессилия, конечно). Подражая Новой венской школе, великим Арнольду и Антону (Шёнбергу и Веберну), я тайком испытывал себя в серии, додекафонной технике, атональном письме. Да и джазовых гармоний и ритмов подчас норовил подпустить – каюсь.

А для учителя, узнай он о моих опытах, это был бы поцелуй Иуды (или примешанный к вину яд Сальери).

Но и в джазе, и додекафонной технике я, увы, не преуспел: музыки от этого не прибавилось...

Наверное, я из той породы музыкантов, которые разберут вам по косточкам сюиту Баха, симфонию Бетховена, оперу Вагнера, балет Чайковского или Прокофьева, скрипичный концерт Берга, но сами не напишут и двух тактов настоящей музыки. Нас называют музыковедами, теоретиками, биографами великих. И порой мы отважно писательствуем, бойко строчим и выпускаем книги, даже в романистику можем удариться и сорвать шумный успех, как иному скверному и порочному старичку удастся сорвать поцелуй молодой, красивой, безоружной перед наглостью женщины, но все это от бессилия.

Бессилия перед музыкой, которая гораздо выше вымученных романов и поэтому есть единственное истинное избранничество, единственное апостольство. А тем более такая божественная музыка, какую писал, вернее, воскрешал из небытия Сильвестр Салтыков...

3

Однако вернемся к мнениям.

Итак, *наследства* я не получал. Таким образом, одно из мнений можно отнести в разряд вздорных, нелепых, даже фантастических и со спокойной совестью похерить. Р-раз, два – и нету!

С этим покончено.

Другие считают, что, воспользовавшись бедственным по-

ложением семьи умершего, я выкупил разговорные тетради, причем заплатил за них по щедрости своей жалкие гроши. Попутно прихватил и антикварную, старинной работы лаковую мебель: кресла, диваны, инкрустированные слоновой костью бюро, секретеры, орехового цвета фисгармонию с накрывающей клавиши вышитой дорожкой (рукоделие Елены Оскаровны), поставец эпохи Лжедмитрия.

В шестидесятые годы все это москвичи без всякой жалости выбрасывали, выносили во двор как старую рухлядь. А Сильвестр жалел, восстанавливал, ремонтировал. Где-то для крепости клинышек вобьет, где-то недостающую резьбу искусно выточит, где лаком покроет и еще умудрится этот лак состарить, затемнить, лишить ненужного блеска.

Помню его в фартуке, пропахшего столярным клеем, обсыпанного стружками, с рубанками, фуганками, молотками и молоточками разного калибра.

Волосы схвачены красным шнурком, как у мастерового, губы от усердия сжаты, втянуты вовнутрь...

Я. Бог в помощь, учитель. Не помешаю? А вы и в этом деле мастер.

Сильвестр (*сметая с верстака стружки и опилки*). Меня в детстве учили. У нас был сосед – столяр-краснодеревщик. И тоже музыку сочинял, хотя и не записывал. Сочинял для гармошки и балалайки.

Я (*присаживаясь на край верстака*). Так что, получается, эти искусства родственные, от единого корня – сочинение

музыки и столярное дело.

Сильвестр (*тоже присаживаясь, снимая фартук и вешая на гвоздь*). И к тому же у каждой старинной вещи свой распев. Есть мебель украшенная, концертная, партесная, как церковная музыка при Петре. Мебель для услаждения чресел, покоя и неги, но не для молитвы. А есть – простая, суровая, одноголосная, как знаменный распев: молитвенная...

Я. И все это со свалки?

Сильвестр. Кое-что из брошенных домов. Хозяева уехали, а мебель оставили. Кое-что по знакомству мне отдали, зная, что я столярничаю. И главное, никто не попросил после ремонта вернуть. Никому она не нужна.

Я. Это такая красота-то?

Сильвестр. И не только красота. Здесь есть письменный стол композитора Ребикова, написавшего оперу «Елка». Есть шарик, свинченный с кровати Танеева. Есть треснувшее зеркало, в которое перед смертью смотрелся Скрябин. Реликвии! Но и они оказались не нужны потомкам. Один из потомков мне так и сказал: «Забирайте вы эту рухлядь». Я и забрал.

Словом, мебель мне досталась – залюбуешься! А главное, я – уж конечно же! – позарился на иконы. Но это особая история...

Да, почему-то все уверены, что вместе с мебелью я присвоил и вывез иконы – ценнейшие, старинного письма, в том числе и старообрядческие, из заволжских деревень, где Сильвестр еще студентом бывал с фольклорными экспедициями.

Ходил по замшелым, покосившимся, заплесневелым избам, просил одиноких старух: «А не споешь ли, бабушка, что раньше пели? А я за тобой запишу, чтобы не пропало». Те соглашались, и Сильвестр – при керосиновой лампе или мигающем свечном огарке – записывал за ними *старину*: песни, плачи, причитания.

Записывал и поглядывал по углам, не попадетя ли где-нибудь на глаза закопченная черная доска в мерцающем золотом окладе, с потускневшим ликом и едва угадывающейся церковно-славянской вязью.

И попадались доски: иногда со стены снимал, иногда – из-за печки доставал, иногда находил среди всякого хлама (комсомолия и тут свой след оставила). «Это кто ж изображен-то?» – спрашивал он хозяйку, древнюю старуху с запавшим ртом и морщинистым лицом, похожим на запекшееся яблоко. «Моя бабка помнила, царство ей небесное, а сейчас никто и не помнит. Да и я не вспомню», – отвечала та, крестясь двумя перстами на икону...

Сильвестр собирал свои иконы всю жизнь, хранил бережно, мало кому показывал, кроме меня и самых близких друзей. Помню, по каждому ничтожному поводу вызывал *грабля* – старичка-реставратора в артистическом бархатном берете, с шелковым платочком вместо галстука и оправленной серебром головой Адама на безымянном пальце.

Так что ответить этим господам, распространяющим обо мне вздорные слухи?

Пожалуй, только одно. Как уже сказано, я сам всегда признавался в собственных грехах и пороках. Я и сейчас готов обличать себя по любому поводу – за мной не постоит (к этому меня приучил Сильвестр). Но если вы думаете, что я способен совершить *такую* низость, как посягательство на иконы моего учителя, значит, вы сами способны пасть еще ниже. Так-то – уж не обессудьте.

Однако спешу вас успокоить.

Мебель Сильвестра Салтыкова и его ореховая фисгармония целы, иконы висят на своем месте. Они занимают целую стену в кабинете, а кроме того, иконами увешана маленькая молельня, переделанная им из кладовки (прообразом послужила молельня отца Соломонии, подпольного богослова и философа, но об этом речь впереди).

Хотя тут и переделывать особо не пришлось – просто вынести всякий хлам: старую раскладушку, запасы сахара и муки в огромном довоенном чемодане (летом пекли пироги и варили малиновое варенье, чтобы лечить простуду), разо-

бранный радиоприемник с пыльными лампами. А после этого – убрать фанерные полки, установить деревянное Распятие, накрытый вышитой тканью аналой и медные подсвечники.

Лишь одну икону (круглую, резную, с фоном из фольги) вдова покойного Соломония отдала за долги жадным и настойчивым кредиторам, да и то в мое отсутствие, иначе бы я костями лег, но не допустил такого расточительства.

Куда же делись тетради?

В ответ на этот вопрос Салтыковы лишь разводили руками и, показывая, сколько усилий они потратили на их поиски, лишний раз выдвигали и задвигали ящики столов, открывали и закрывали дверцы бюро и секретеров. Пусто!

О тетрадях ничего не могла сказать даже любимая дочь Сильвестра Татьяна. Как я ни подступал к ней, как ни допытывался, как ни умолял дать мне хотя бы маленькую зацепку – ровным счетом ничего, а это красноречивое свидетельство.

В доме все издавна знали: если пропала какая-нибудь вещь, надо спросить у Татуши, от которой ничего не спрячешь, поскольку ей известны все потайные уголки. За диваном, в ящике стола (в том, который не выдвигается), под обшивкой кресла. Она непременно покажет и отыщет.

Но тут даже Татуша сплеховала, и это свидетельствовало о том, что дело швах, как любила говорить Соломония: тетради пропали бесследно и вряд ли теперь обнаружатся...

И вот тетради у меня – все, кроме одной, которая так и не нашлась (в этом Соломония оказалась права). Иными словами, не была обретаена вместе с другими, осталась неподвластной чуду, которое обошло ее стороной, словно смородинно-черное, грузное, рыхлое грозовое облако, и разрядилось магниевыми-красными молниями где-то вдали, за горизонтом.

Где-то она теперь пылится, а главное, что в ней, чьи невнятные, словно потусторонние голоса угадываются за строчками, вписанными разными почерками, но с одним характерным салтыковским нажимом пера (или карандаша), местами прорывающего бумагу?

Над прочими же чудо свершилось – вмешательством высших или низших сил, право же, не знаю. Да и, признаться, не хочу знать. Пусть уж другие гадают, домовый, леший, кикимора болотная (за сих персонажей у Салтыковых отвечал дядя Коля) мне их подкинули или тролли, кобольды, гномы-рудокопы (а эти были по части дяди Боба) извлекли из своих потайных кладовых, охраняемых летучими мышами и окаменевшим от старости филином.

Да, извлекли, сдули пыль, смахнули налипшую паутину, соскоблили зеленую плесень и преподнесли мне с почтительными поклонами и реверансами. Полагаю, что многим разгоряченным умам хотелось бы так думать, но, к их разочаро-

ванию, чудо не всегда облекается в фантастические, сверхъестественные формы и часто выглядит весьма прозаически, о чем не раз говорил мне мой учитель.

Говорил, ссылаясь как на высшие авторитеты на Марию Вениаминовну Юдину, Алексея Федоровича Лосева и других своих знакомых, не чуждых этой мысли и не упускающих случая ее повторить. Приводил Сильвестр примеры и из собственной жизни – примеры на прозаичность чуда, которое свершается не в громах и молниях, а *в веянии тихого ветра*. Очень уж любил он это веяние, хотя не поминал о нем всуе, помалкивал и при этом загадочно, с особым значением смотрел на меня.

Он словно предвидел, что его тетради будут обретенны мною... под трухлявым матрасом разошедшегося, продавленного топчана, на котором спал Гаврилыч, он же Ричардсон, сторож монастыря, недавно возвращенного церкви, – монастыря, где пели по-старинному, в унисон, и где поэтому особенно любил бывать Сильвестр Салтыков.

6

Такое прозвище – Ричардсон – Гаврилыч получил, поскольку – по неведомой взбалмошной прихоти – почитал англосаксонскую расу и очень уж любил выдавать себя за англичанина. Англичанина, принявшего православие из умильной любви к нему и покинувшего свой Альбион, что-

бы поселиться здесь, на глухой окраине, за монастырскими воротами, в сторожевой будке. Будке, где в чугуне варится, побулькивая, картошка, на стене висит прошлогодний церковный календарь, рядом с иконами сохнут выстиранные рубашки, штопаные и перештопаные носки, портянки и канареечного цвета кальсоны.

Сильвестр (*с невинным любопытством*). А не скучаешь по Англии? Может, вернешься?

Гаврилыч (*насупившись*). Никогда.

Сильвестр (*продолжая искушать и испытывать*). Все-таки жизнь у них обустроена и люди культурные. Не то что у нас – дикость, азиатчина, холода, сугробы, метели... (*пожегилса и подышал на руки*).

Гаврилыч (*с непреклонной решимостью*). Никогда.

Сильвестр (*со скучающим лицом*). Ну что ты заладил – никогда, никогда. Ты с умом ко всему подойди.

Гаврилыч (*явно скромничая*). Что мне ум! Я уж так, по-глупому...

Сильвестр. И что у тебя по-глупому выходит?

Гаврилыч. А то, что здесь, в России, жизнь и впрямь никудышная. Зато особая тонкость имеется... (*опустил глаза, не желая выкладывать сразу все козыри*).

Сильвестр (*показывая, что он тоже при козырях*). Какая же тонкость, если бабы у нас в полтора обхвата?

Гаврилыч. Ну, это, положим, не все наши бабы. Есть, однако, и потоньше. Но главная тонкость не в этом, а в том,

чтобы о божественном потолковать и церковное послушать. Вон как мы с тобой... Что, не так?

Сильвестр. Так, так, Гаврилыч. Праведник ты...

Гаврилыч (*пускаясь в рассуждения*). Э нет, зачем мне на себя брать. Я, может, и грешник, но – Божий. Ведь у дьявола грешники свои, а у Бога – свои. Вот мы с тобой – Божьи грешники. Это я точно знаю.

Сильвестр. Ну, спасибо. Успокоил. Так теперь и буду себя считать Божьим грешником.

Гаврилыч (*наставительно уточняя*). Раз ты музыку сочиняешь, то конечно. Не без греха. Если б не сочинял, был бы святым, а так грешник, хоть и Божий.

7

При всем при этом особой набожностью Гаврилыч-Ричардсон не отличался, напротив, был гуляка, пьяница и весельчак, каких мало, а может, больше и вовсе нет.

Правда, свое пьянство Гаврилыч, по рассказам Сильвестра, называл *умственным* и возводил прямехонько к древнерусскому застольному благочестию – к тому, чтобы «пить и Бога славить», поднимая одну чашу за Христа, другую – за Богородицу, а третью – за святых, царя, царицу и царских детей. Вот и Гаврилыч-Ричардсон, следуя благочестивому этикету, каждой налитой всклень рюмкой славил и святых, и архистратигов небесных, и ангелов (Христа и Богородицу по

недостойнству своему не решался). При этом восхищался красотой, благолепием и разумным устройением Божьего мира, читал тропари и пел непременно церковное.

Другого не признавал. И висевшее в его каморке радио выключал, если передавали *симфодемоническое*, как он выражался.

Даже злился.

Сильвестр (*мягко увещевая*). Да ты послушай. Принорювись. Вникни.

Гаврилыч (*упрямо и несговорчиво*). Нечего мне вникать. Я бы это симфодемоническое напрочь извел. Ишь, инструментов всяких понаделали. Голосом надо Бога славить.

Сильвестр (*будто не понимая*). Да чем же голос лучше?

Гаврилыч. А тем, что голос всем инструментам царь, как человек царь всему творению. К тому же голос весь живой, поскольку из дыхания рождается и с душою связан, а инструмент ваш что? Протез!

Вообще Гаврилыч был большой любитель церковного пения. Любитель, каких когда-то было немало, а теперь осталась горстка, малый народец, с десятков на всю Москву. Особенно умилялся Гаврилыч песнопениям Страстной субботы, а «Свете тихий» не мог слышать без слез, за что корил себя, поскольку считал свои слезы признаком душевности, неуместной при храмовом действе.

И не только любитель, но и тонкий, искушенный знаток, своего рода эксперт, безошибочный оценщик (он и сам ко-

гда-то пел в хоре). Чуть поморщится Гаврилыч, досадливо кашляет, глаза уклончиво в сторону отведет – считай, суровый разнос, беспощадный приговор, посрамление монастырскому хору, от которого потом не отмыться. Бдительно следил, чтобы выпевали всю службу целиком, без ужатий и сокращений. И всегда бранился, суковатой палкой гневливо в пол тыкал (стучал), если певчие сидели во время причастия: «Зады свои от стульев оторвать не могут, ироды окаянные!»

За все это Сильвестр Салтыков русского англичанина уважал и подолгу просиживал у него в каморке. Они вместе выпивали. Закусывали испеченными по случаю масленицы блинами с красной икрой (впрочем, икру Гаврилыч считал баловством, хотя и не брезгал ею), сваренными вкрутую яйцами или черным хлебом с селедкой, посыпанной мелко нарезанным укропом и зеленым луком.

При этом степенно беседовали о любимом предмете – любимом не только для Ричардсона, но и для самого Сильвестра, которого тот – в пару себе – считал обрусевшим итальянцем... Сильвио Салютатти (имя было изобретено Гаврилычем не без участливой помощи друга и собутыльника), помешавшимся на церковном пении.

Гаврилыч (*спрашивая как бы «по роли» и от этого немного важничая*). А ты, Сильвио, скучаешь по своей Италии?

Сильвестр (*улыбаясь при мысли о том, что в Италии-то ему и не довелось побывать, но тем не менее тоже*

выдерживая «роль»). Скучаю, если по совести.

Гаврилыч. Снится она тебе?

Сильвестр. Почти каждую ночь, особенно Венеция, каналы, собор Святого Марка, тучи голубей на площади. Да и Рим тоже...

Гаврилыч (*сурово подбирая губы, чтобы и самому не разнежиться и не заскучать*). Ну и зря. Плюнь и разотри. Что нам эти Венеции! Там слишком сладко поют, а сладость – это не святость...

Тетрадь четвертая. Вот какой я Шиллер

1

К церковному пению я еще не раз вернусь в моих записках. Собственно, это мой основной сюжет, мой, с позволения сказать, гвоздь.

Гвоздь кованый и закаленный, с квадратной шляпкой – на нем-то все и держится. Ведь без него нам ровным счетом ничего не понять в музыкальных исканиях Сильвестра Салтыкова, может быть, последнего русского композитора, и в самой сути его великой Системы.

Впрочем, Сильвестр не очень-то и любил называть (величать) себя композитором и уж тем более последним, считая, что после него еще народятся и будут писать музыку не хуже... да что там не хуже – во много раз лучше, чем он. Но что действительно с ним уйдет и, может быть, навсегда, так это знание церковной службы, всех ее чинопоследований, молитв и акафистов, и любовь к церковному пению.

«Был дядя Коля... ну, еще, может, Гаврилыч, затем, пожалуй, – я, а после меня никого уж не будет. Вот и выходит, что тут я последний», – так он не раз говорил, имея в виду не

себя лично, а особый, складывавшийся веками духовно-эстетический тип (образ) русского человека.

К этому типу он себя и причислял, завещая мне напоследок: «Если будете обо мне что-нибудь писать, марать бумагу – хотя бы и эпитафию, не забудьте упомянуть, что покойный был знатоком церковной службы и любителем церковного пения. Больше можно ничего не добавлять».

2

Но я все-таки решил добавить, раз уж мне достались эти тетради. Но что именно добавить и, главное, в какой пропорции, благо и сам Сильвестр считал пропорциональность синонимом музыкальной формы?

Как уже сказано, Сильвестр вел свои тетради всю жизнь, и я стараюсь хотя бы вкратце коснуться всех главных событий – перипетий – его жизненного пути, но все же больше пишу о детстве и юности. Собственно, там уже весь Сильвестр – вот он, есть, целиком, со всеми потрохами, страхами, восторгами, падениями, срывами, ранними прозрениями.

Не вундеркинд, хотя многие его прозрения поразительны, недаром мать и отец его даже побаиваются и называют загадочным азиатом. И все же не вундеркинд, но и не обычный – особый ребенок, в котором уже таинственно вызревала, обретала неповторимые очертания, формировалась его будущая музыка.

К тому же о его зрелом периоде уже пишут биографы, и я слышу, как – шур-шур-шур – поскрипывают их перья. Издатели их торопят, умоляют не затягивать, требуют рукопись к сроку, грозят за опоздание расторгнуть договор. Поэтому не буду отнимать у них хлеб – сдобную булку, хотя сам сижу на сухарях и воде.

Не буду, не буду (пусть не беспокоятся), тем более что о детстве и юности могу рассказать только я один, поскольку мои записки – это, пожалуй, еще и роман.

А романисту, замечу не без гордости, доступно проникновение в сферы, скрытые от рассудочного ума ученого.

Словом, в моих руках магический карбункул, хотя, может быть, я и обольщаюсь, и приписываю себе то, чего на самом деле начисто лишен. С магическим-то стал бы я забегать вперед, топтаться на месте или бежать вслед за своим поездом, благополучно покинувшим платформу вокзала?

3

Помимо разговорных тетрадей, этого главного источника сведений о Сильвестре, я, разумеется, пользовался и другими источниками. Источниками разной степени надежности, и, признаюсь, ненадежные как-то по-особому жаловал (жалел), предпочитал. Так сказать, не брезгал, не гнушался... Их ненадежность (а она бывает разная – вплоть до неблагонадежности) меня, романиста, и притягивала, как Сильвест-

ра притягивали всякого рода музыкальные апокрифы вроде стихир Ивана Грозного. Попробуй разберись, он ли автор, а вот поди ж ты...

Я слышал от Салтыковых, что у них в семье хранилась эта реликвия – письмо Николая Карловича Метнера, композитора, пианиста, друга Рахманинова. Впрочем, реликвией оно долго не признавалось, и Салтыковы предпочитали лишний раз о нем не упоминать – помалкивали и уж тем более не выносили из дальней комнаты и никому не показывали. Они опасались (и на это были веские причины), как бы письмо им не навредило, не бросило на них подозрения, не навлекло беды.

Все-таки Метнер – при всей своей честности и благородстве – эмигрант, живет за границей, и, хотя мечтает вернуться, возвращение на родину ему заказано. Один раз впустили на гастроли, дали ангажемент, что называется, и на этом оборвалась веревочка (слава богу, не обернулась петлей).

Отсюда и риски для них, Салтыковых. Не дай бог обнаружат это письмо при обыске (а сейчас от обысков никто не застрахован, был бы предлог: могут нагрнуть в любой момент), и как тогда оправдываться, объясняться? Правда, адресовано это письмо не им, а Александру Федоровичу Гедике, композитору, органисту, человеку милейшему и тишайшему, всегда при галстукe, с усами и седенькой интеллигентской бородкой.

Но все равно спросят, станут допытываться: «Откуда

письмо? Как оно к вам попало? Зачем храните?»

Правду сказать – не поверят. А выворачиваться, финтить, что-то придумывать – еще хуже: обличат во лжи, вымажут грязью, ярлыков навешают так, что и не отмоешься. Сам по-веришь, что ты затаившийся враг и вредитель.

И хотели Салтыковы от письма тихонько избавиться – разорвать на клочки и сжечь или выбросить. Но Сильвестр не позволил, унес к себе и спрятал подальше (так оно в конце концов попало ко мне). Объяснил это тем, что письмо было передано ему на хранение самим адресатом – тишайшим и милейшим Александром Федоровичем.

Тишайшим и – хочется добавить – трусоватым. Оттого и руки у него дрожали. Очень уж боялся, как бы не всплыло, что у него есть родственник за границей – Николай Карлович Метнер. Родственник, правда, дальний, седьмая вода на киселе, но все-таки этим киселем ему могут при случае и физиономию вымазать, в этот кисель носом ткнуть.

Ткнуть так, чтобы он забулькал, чтобы от вашего дыхания (сопения) пузыри пошли.

Что ж вы, – скажут, – мараете нотную бумагу, воспеваете подвиги наших летчиков, славите Великий Октябрь, о Сталинской премии мечтаете, а сами? Сами-то камень за пазухой держите, лазейку для бегства ищете, с эмигрантским логовом переписываетесь.

И потянут на Лубянку, а там допросы, мордобой, этапы, тюрьмы, лагеря.

Вот Александр Федорович и попросил Сильвестра забрать письмо – от греха подальше. Он даже не решился произнести свою просьбу вслух (разговор происходил в консерваторском классе, куда то и дело заглядывали студенты), а написал на клочке бумаги: «Умоляю, заберите это».

Написал неразборчиво – руки дрожали и буквы прыгали. Сильвестру даже не показал – не захотел позориться, а скомкал, разорвал и выбросил в окно. Тогда Сильвестр достал и раскрыл на чистой странице свою тетрадь. Александр Федорович немного успокоился, и произошел меж ними такой разговор:

Гедике (*озираясь по сторонам и доставая письмо*). Вот хотел вам показать сию корреспонденцию... Может, заинтересуетесь. От Метнера.

Сильвестр. От Николая Карловича? Он же ваш родственник...

Гедике (*с выражением панического испуга в глазах*). Т-с-с. Родственник – не родственник, а что вы тут, знаете ли, подчеркиваете, акцентируете... Я не анкету заполняю.

Сильвестр. Да я бы гордился... замечательный композитор, слава России...

Гедике. А я, сударь мой, не горжусь. Вот представьте себе, не горжусь. В наше время иметь родственника за грани-

цей... Можно потерять все самое дорогое.

Сильвестр. Вы о семье, о детях?

Гедике. Голубчик, у нас с женой нет своих детей. Мы воспитываем моих племянниц.

Сильвестр. Тогда что же вы так боитесь потерять?

Гедике. Господи боже мой, орган! Мой любимый орган из Большого зала консерватории. Это же сокровище. Ему цены нет.

Сильвестр. Куда же он денется? Как стоял, так и будет стоять.

Гедике. Милый мой, спросите лучше, куда я денусь. На Колыму, в Магадан, в мордовские лагеря?

Сильвестр. Вы же композитор, профессор, уважаемый человек... Скоро Сталинскую получите. Вознесетесь еще выше – до заоблачных высот.

Гедике. Ах, оставьте эти глупости. Письмо берете? Если нет, я его уничтожу.

Сильвестр. Беру.

Гедике. Храните и никому не показывайте (*отдает ему письмо*). А Колю Метнера я люблю и буду любить. И музыку его считаю прекрасной. И сам он рыцарь, святой, бесребренник.

Сильвестр. Но ведь он приезжал в двадцать седьмом году. И его так хорошо принимали, даже на официальном уровне.

Гедике. Приезжал и больше не приедет. Не позволено.

Сильвестр. Почему?

Гедике (*разводя руками от напускного недоумения и маскируя им затаенный сарказм*). Не ко двору. Неудобен. Вот Алексей Толстой, гусь лапчатый, тот угоден, заслужил, а наш Коля – нет. Не способен прославлять и возвеличивать. (*Подумав немного.*) Вы только про Алексея Толстого никому не передавайте.

Сильвестр. Обещаю. Но ведь и вы прославляете...

Гедике. Я дрянной человек, Башмачкин без новой шинели. Слабый, трусливый, по сторонам озираюсь, всего боюсь. И больше всего боюсь, что у меня отберут мой орган. Я ведь в пять утра встаю, чтобы успеть на нем поиграть, пока оркестранты не собрались – репетировать в Большом зале. Отними у меня эту возможность, это счастье, ниспосланную свыше благодать, мне и жить не к чему. Ладно, голубчик, вон певец Райский, человек осмотрительный, тоже не переписывается. Да и многие по нынешним-то временам... Это, прошу, тоже не передавайте.

Сильвестр. А Гольденвейзер?

Гедике. Александр Борисович? Тот, глядишь, письмишко-то и черкнет. Не потому, что храбрый, к тому же ценит дружбу. Он если что и ценит, то лишь местечко на Ваганькове, рядом с женой, приготовленное им для самого себя. Но он, заметьте – и хорошо заметьте, для Льва Толстого играл! Значит, перед властью заслужил. Ему можно. А вот я Сталинскую-то получу, как вы пророчите (*смеется в бороду*),

то, может, на радостях тоже напишу моему милому Коле. В Лондон до востребования!

5

Увы, мне не удалось обнаружить тайное житие Сильвестра (в монашестве Досифея). Хотя известно, что оно есть – существует в нескольких списках и ходит по рукам приближенных, доверенных лиц, преимущественно духовного звания.

Но в этот круг я попасть не сумел: не достоин – не заслужил. Рожей не вышел. Кто я для этого круга? Так, музыкантишка...

Да и не было проводника, рекомендателя, способного за меня поручиться.

Поэтому приходится довольствоваться догадками, предположениями, намеками, отголосками.

Один из таких намеков – о совершенном Сильвестром хождении. Вот, мол, было такое... Но, спрашивается, когда, в какие годы? И куда он хаживал? Поясните, уточните, раз намекаете. По старообрядческим скитам Заволжья или Сибири? На Афон? Может быть, в Иерусалим на бесе летал, как новгородский архиепископ Иоанн?

А если хаживал, то и *сизживал* (еще один глухой намек). Где именно, позвольте спросить? В библиотеке царя Ивана Грозного? Кунсткамере Петра? Рукописном собрании графа

Мусина-Пушкина?

Этого я так и не установил. Но зато мне доступен семейный архив Салтыковых (если его можно так назвать, поскольку он занимает всего две шкатулки, сосланные на антресоли). Доступна переписка Сильвестра – не с собратьями по ремеслу, а с особами духовного звания, игуменами монастырей, старцами (такими как Иоанн Крестьянкин), молитвенниками, прозорливцами, читавшими его письма, не вскрывая конверта.

К тому же мне довелось слышать рассказы как самого композитора, так и его близких, учеников и друзей.

Впрочем, ученики, друзья... слишком чинная и благостная выходит картина, а Сильвестр этого терпеть не мог. Поэтому к ученикам и друзьям, пожалуй, добавлю и подружек, которыми он увлекался в ранние годы, до своего обращения.

Подружек самых разных, смешливых, лукавых, жеманных, строгих, надменных – их всех разогнала Соломония, лишь только он позволил ей воцариться в его жизни (некоторые из них, разогнанных, по загадочной прихоти судьбы впоследствии тоже обратились и даже приняли постриг, стали черницами).

6

Разогнать-то разогнала (да так, что их словно бы ветром сдуло), но мне никто из них не отказывал в нужных сведениях.

ях. Сведениях даже такого рода, на которые я, казалось бы, не вправе претендовать из-за их личной – интимной – окрашенности. Я, собственно, посягал на их тайны и всегда давал понять, что они вправе не отвечать на мои вопросы: «Ради бога, я не обижусь». И тем не менее они, мои лебедушки, все мне выкладывали как на духу...

Я. ...И он был влюбчивым? Страстным?

Иоланта. Нет, влюбчивыми и страстными были мы, окружавшие его. А он, надо признать, любил окружать себя женщинами, но не царить среди них – скорее держаться в сторонке, особнячком, из своего уголка поглядывать...

Я. Простите, как это – окружать и держаться в сторонке?

Люба (*пытаясь разъяснить мне то, что сама не совсем понимала*). Ну, у него было свое признанное место среди нас – в центре нашего круга, но он его не занимал, не дорожил им, а как бы постоянно желал уступить.

Зоя (*опасаясь, что в иную минуту не выскажет того, о чем способна поведать сейчас*). И уступал. Вернее, сам ускользал от нас, а мы оставались ни с чем. Иной раз разве-селит, рассмешит всех до чертиков, и нет его... А иной раз вот он, здесь, с нами, но скучный и молчаливый...

Я. Ну а любил он кого-то из вас по-настоящему?

Зинаида (*с затаенной тонкой насмешкой, выражавшей презрение, обожание и скрытый восторг*). Нет, у него, как у Бетховена, была своя Бессмертная Возлюбленная, к которой мы все бешено ревновали.

Я (*стараясь не спугнуть их откровенностью*). Кто же это, если не секрет?

Сильвия (*испытующе-доверительно*). Секрет, но вам мы его откроем. Это сиятельная Кето Орахелашвили, дивная, божественная, ослепительная красавица грузинка, само совершенство, жена дирижера Евгения Микеладзе. В тридцать седьмом их обоих взяли, мужа и жену. Он был расстрелян, а она провела в заключении несколько лет. Сильвестра познакомила с ней Юдина, когда давала концерты в Тбилиси, а он ее сопровождал. Познакомила на свою голову: с тех пор Сильвестр, как верный поклонник Кето, перестал быть пажом Марии Вениаминовны. Стал даже пропускать ее концерты – из-за того, что постоянно летал в Тбилиси. Он посылал своей Кето посылки в тюрьму, подкупал охрану, чтобы ей передавали записки, и всячески пытался вызволить – через влиятельных знакомых музыкантов.

Я (*в свою очередь испытывая их на искренность*). И вы терпели при всей вашей ревности?

Сильвия. Терпели и помогали. Дело-то святое. Соломония тоже это понимала и сочувствовала. Так что помогали, помогали, и он нам за это все прощал.

Я. А было такое, чего не прощал?

Дарья. Не прощал, когда мы мешали ему работать. Мы его музыки не понимали – что он там пишет! Какие-то церковные песнопения! Скукотень! И частенько своими заигрываниями, томными вздохами, смешочками, капризами отры-

вали его от занятий. Тут он мог и накричать, и выгнать вза-
шей. А так был кротким, добрым и мягким...

Я. А Мария Вениаминовна ему ничем не отомстила?

Фаина. Ну, не то чтобы отомстила... но наказала его тем,
что приблизила к себе своего ученика Кирилла. Даже собра-
лась за него замуж. Он ведь – заметьте – тоже Салтыков! И
еще. В наказание Сильвестра она играть перестала, Кирилла
же весьма успешно исполняла на концертах. К примеру, пе-
реложение *Lacrimosa* из Реквиема Моцарта.

Так мы беседовали. При этом всегда подчеркивалось, что
только я могу рассчитывать на подобную откровенность, по-
скольку обладаю неоспоримым преимуществом перед дру-
гими возможными претендентами: я избран и призван.

7

Избранность и признание – необходимое условие для тех,
кто хотел бы стать биографом Сильвестра и семейным лето-
писцем Салтыковых. Никакой произвол здесь не допускает-
ся. Я это почувствовал, когда впервые услышал обращенную
ко мне внушительную, с оттенком старомодной почтитель-
ности фразу: «Отныне вы наш Шильдер!»

Полагаю, всем известно, что Николай Карлович Шильдер
– официально признанный, приближенный ко двору исто-
риограф царствования Александра I. Таким образом, и я был
удостоен официального признания с тою лишь разницей, что

мои Салтыковы – не царствующее, не обласканное двором, не осыпанное милостями и наградами, а гонимое, бедствующее, горемычное семейство, захудалая ветвь рода Салтыковых.

Несладко им приходилось при гегемоне, в те самые времена, хотя Салтыковы никогда не искали возможности *уехать* под предлогом поправки здоровья или *остаться*, если кого-то из них командировали по службе. Они фрондировали (особенно дядя Боб), но не диссидентствовали. Подписать письмо, переправить что-то за границу, дать там скандальное интервью, шумнуть (шумим, братец, шумим) сочли бы для себя предосудительным или даже постыдным.

В этом их сходство с Марией Юдиной, столь же непримиримой к диссидентству, как и к тогдашней власти (для нее это заведомо было одно и то же). И в этом же их расхождение с Борисом Пастернаком, которого Салтыковы – при всей любви к нему – молчаливо (стараясь лишний раз не высказываться) осуждали за то, что «Доктор Живаго» впервые был напечатан *за бугром*, как тогда говорилось. И Сильвестр, верный семейным заветам, прятал законченные партитуры в стол, если их отказывались исполнять. И при этом отклонял любые лестные и выгодные предложения устроить ему премьеру в Мюнхене, Вене или Париже (вот, правда, перед самой смертью согласился на Кёльн, но тогда бугор уже был скрыт, союз нерушимый разрушен, все позволялось и ничего не запрещалось)...

В этом Салтыковы были горды, даже – при их-то бедности – надменны. А так женились на ком попало, да и замуж выходили без особого выбора. Многие сменили фамилию, стали Сальниковыми, Самойловыми, Семеновыми. И если и не отреклись от своей родословной, то изрядно подзабыли, кто там когда-то блистал при дворе, кто командовал русской армией в Семилетней войне и одерживал головокружительные победы, а кто вместе с Петром создавал русский флот и мечтал снарядить экспедицию, чтобы покорить Индию, добравшись до нее через Северный Ледовитый океан.

Я же, видите ли, их историограф. Официальный!

8

Однако это меня несколько не огорчает и не смущает. Напротив, дает мне повод для безудержной (и беспричинной) веселости, беззаботного смеха, и я готов воскликнуть, смахивая с глаз набежавшие слезы (как говорил учитель, уж если смеяться, так до слез): вот какой я Шиллер!

Вот какой душка – так и хочется эдак ущемить и оттянуть румяные щеки, чтобы потрепать за них. Или от восторга надавать шутивых, ласковых пощечин.

Только виноват: не Шиллер, а Шильдер, конечно. Заболтался. Оговорился. Хотя, впрочем, какая ж тут вина, если Шильдер или Шиллер – это совершенно одно и то же!

Тетрадь пятая.

Музыкальное семейство

1

Я живу на Большой Никитской, вблизи от консерватории и неподалеку (через два квартала) от Салтыковых, но гораздо выше их этажом. Они – на втором, в бельэтаже, я же, считай, на самой отчаянной галерке – последнем этаже, под крышей. И мне не хватает лишь подзорной трубы, чтобы разглядывать по ночам подернутые прозрачной дымкой перламутровые звезды.

Следует также отметить, что этаж здесь сужается и странным образом удваивается, отчего приобретает сходство с выложенными лесенкой детскими кубиками.

Такие кубики были у Сильвестра, подаренные ему бабушкой Софьей, грузной, рыхлой, страдавшей одышкой, при ходьбе колыхавшейся волнами, на поверхности которых возникала еще и мелкая рябь (тряслись руки и шея). Она опиралась о суковатую палку, еле передвигала распухшие ноги, обмотанные резиновыми бинтами, и плохо выговаривала «с» (сползала на «ч»).

Добавлю, что родилась она в Петербурге и слыла там од-

ной из первых красавиц, хотя и бесприданницей. В бабушку Софью когда-то был влюблен великий Антон Рубинштейн, приглашавший ее на свои концерты и всегда кланявшийся в ее сторону (львиная грива волос закрывала лоб).

Кроме того, она задушевно и кропотливо дружила с Розалией Исидоровной Пастернак, женой известного художника, бывавшего в Ясной Поляне и иллюстрировавшего «Воскресение» Толстого. Бабушка Софья не только принимала Розалию Исидоровну у себя, но и часто ее благостно навещала, хотя с годами это становилось все труднее (не пускали волны и мелкая рябь).

Кубики она подарила Сильвестру вместе с жестяной каретой, запряженной механической – ключиком заводится на спине – пегой лошадкой: в семье ее звали Фру-Фру или даже Анной Карениной (Анну всегда осуждали, а Алексея Александровича безоговорочно оправдывали).

Однако я, похоже, отвлекся. Кубики и Лев Толстой увели меня в сторону...

Собственно, у меня даже и не квартирка, а так себе, чердачок, где и повернуться-то негде (все завалено пыльными папками с выписками), но я не жалуясь и не сетую. Биограф и летописец, я нуждаюсь именно в таком жилище. Нуждаюсь, чтобы сверху можно было *обозревать* – и Москву, как обозревал ее Наполеон с Поклонной горы или молодой, бурно-восторженный Борис Пастернак с колокольни Ивана Великого, и смену исторических вех, и, так сказать, людские

нравы, ведь они тоже имеют некие зримые – вещественные – проявления, хоть наводи на них подозрную трубу.

Да и как-то свободнее себя чувствуешь здесь, наверху, под ночными звездами. Соответственно, и мысли рождаются возвышенные. О Боге можно подумать, о Роке, о Предначертании. И о Сильвестре Салтыкове – *страннике ночи*, как он себя называл, прочитав в рукописи крамольный роман, который вскоре, после ареста его автора, сына известного, избалованного славой и успехом у женщин писателя, был сожжен на Лубянке.

2

Сильвестр здесь у меня часто бывал, и по ночам (засидевшись допоздна за своими крюками, он любил *постранствовать*, побродить переулками Арбата, Большой и Малой Никитской), и в середине дня возвращаясь из консерватории. Последний раз заглянул ко мне перед своим арестом – 28 мая 1940 года (за дату ручаюсь: она у меня записана, да и можно проверить по его делу в архиве Лубянки). Он уже по многим признакам знал, что его возьмут, знал наверняка, но ему нравилось поиграть с этой мыслью, подразнить если не Судьбу, не Рок, то хотя бы Предначертание.

Поэтому он и затеял тогда, в майскую ночь, этот разговор – о Предначертании. Мы сидели в креслах, отреставрированных им и подаренных мне год назад. Сильвестр зажег свеч-

ной огарок, который я хотел уже выбросить: фитилек утонул в застывшем воске. Раскрыл свою тетрадь и написал дату. Перекрестился.

Сильвестр (*почти безучастно, со странной улыбкой*). Поговорим с вами о том, что нас ждет в этой жизни.

Я (*стараясь отвлечь его от навязчивых мыслей*). О Судьбе? Это слишком серьезно. Всуе, как говорится, не стоит.

Сильвестр. Вы правы. Судьбу мы трогать не будем, а уж тем более рассуждать о Роке.

Я. Тогда о чем же говорить?

Сильвестр. Пожалуй, о Предначертании.

Я. Чем же оно отличается от Судьбы и от Рока?

Сильвестр. Отличия весьма существенные. Я вам объясню... (*В тетради его рассуждения не сохранились, но я их хорошо запомнил и могу изложить.*)

По его мысли, Судьба – это одно, а Предначертание – совсем другое. Судьба неумолима и безжалостна, словно каменная поступь Командора, от которой дрожат стены, звенит посуда в буфете и со скрипом прогибаются половицы. А вот Предначертание может тяжелую поступь сменить на легкий балетный шаг, обернуться причудой, прихотью, шалостью и в конечном итоге обмануть Судьбу, как маленькая Джульетта обманывает и морочит своих нерасторопных нянек (балет Прокофьева).

Скажем, за кем-то *пришли*, а его предупредили, и вот он домой не возвращается – бежит из Москвы, скитается по

разным городам, ночует на вокзалах, побирается, нищенствует и – чудом спасается. А другой, зная, что его скоро должны *взять*, каждую ночь устраивается с портфельчиком (в нем мыло, смена белья, бутерброды, и его удобно класть под голову вместо подушки) на скамейке городского парка. В самом дальнем углу, под липами – и тоже спасается. И третий – тоже, поскольку ему присылают повестку с неправильно написанной фамилией, он же чинно и церемонно спускает ее в унитаз.

Предначертание!

Сильвестра оно не спасло от ареста, но в других случаях спасало. И меня спасало, когда я вслед за ним поехал к черту на рога – в ссылку под Караганду. Поехал, как некогда Мария Юдина – в Алма-Ату вслед за подругой, дорогим и близким ей человеком. Тоже Предначертание!

3

Поэтому как же не думать о Предначертании, особенно на моем чердаке, где все напоминает о Сильвестре – даже кресло без одного подлокотника (не подобрал замены), на котором он любил сидеть, даже обои, слегка засалившиеся в том месте, где он головой прижимался к стене! (В одной из тетрадей он помимо всего прочего пишет, что такой же знак своего частого присутствия оставил Пушкин на Басманной у Чаадаева.)

И никто не мешает мне здесь заниматься любимым предметом – жизнеописанием моего героя и летописью его семейства. Заниматься, разумеется, ограничиваясь при этом временными рамками *предначертанного* нам двадцатого века.

Впрочем, и век этот к концу тоже суживается и напоминает ступенчатый чердачок, что приходится учитывать и не пытаться этак уж вольготно раскинуться, словно на просторном диване, а наоборот – сжаться и подобраться, как будто устроившись на уголке стола, примостившись на подоконнике или высоком, узком табурете.

Да, табурете, на каких сидели (при этом подкладывали плоскую подушечку с узором в шахматную клетку) перед своим кассовым аппаратом, крутили ручку и пробивали чеки кассирши столь памятных мне тридцатых, сороковых и пятидесятых годов.

Почему я о них упомянул?

Так, по некоей случайной прихоти. А еще, может быть, и потому, что долговязым подростком мне так хотелось взобраться на высокий табурет, крутануть раз двадцать ручку, набить целую ленту чеков и сгрести с прилавков в мешок осетров, налимов, окорока, сыры и колбасы, недоступные нам по ценам.

Сгрести и накормить отца, мать и бабушку, накормить весь двор, всю голодную шпану, побирушек и нищих, просивших в подворотнях, у дверей магазинов и на папертях

храмов.

Сильвестр (*пытаясь упереть локоть в отсутствующий подлокотник кресла*). А знаешь, кто получил повестку и разорвал ее? Кого спасло Предначертание?

Я. Понятия не имею. Кто же такой смельчак?

Сильвестр. Смельчак не смельчак, но это Славик, Светик, Фира, как его называли... словом, Святослав Рихтер, мой хороший знакомый и даже собутыльник. А Рихтер по-немецки, между прочим, судья. Вот он и рассудил, сидя в ванне (повестку сунули под дверь): раз фамилия написана неправильно, значит, не ему.

Вот такой анекдот...

4

Сегодня 6 мая 2012 года, Егорий вешний.

За моим окном синеют чудесные весенние сумерки. Они скрадывают очертания домов и бульваров, окутывают их лиловой дымкой и придают им некую мерцающую таинственность.

В такие сумерки Москва кажется иногда Венецией, а иногда – пустыней аравийской.

В небе, за тонкой пеленой облачного дыма, слегка окрашенного закатным солнцем, что-то остро мерцает, похожее на упомянутые мною звезды или осколки разбитых елочных шаров, которые, унося осыпавшуюся елку, веником вымета-

ют из-под обложенной ватой крестовины. Вот, похоже, и вымели все вплоть до последнего и понесли к мусорному ведру, а они – глядь! – неким чудом оказались высоко за облаками и рассыпались по всему небосводу.

Такая уж нынче весна – все сплошные чудеса...

Едва угадывающийся обруч огромной молочно-матовой луны висит над горбатыми крышами. Вдалеке у Калужской площади пустой трамвай с желтыми окнами бесшумно гремит по рельсам, как запряженная грешниками адская вагонетка, и сыпет вылетающими из-под дуги искрами. И кто-то долго чиркает спичкой, чтобы закурить, и, не дождавшись, пока она наконец загорится, задает ей щелчка, прижимая серной головкой к боковой стенке коробка. И тогда она вдруг вспыхивает, крутясь в воздухе, но тут же гаснет, оставляя лишь легкий, прозрачный дымок.

Я зажигаю лампу под темно-красным матерчатым абажуром, собранным складками и стиснутым понизу медным обручем. Достая и раскладываю на столе мое бесценное сокровище – тетради Сильвестра Салтыкова. Среди них есть несколько подарочных, купленных бабушкой Софьей еще при царе Николае. Купленных у немца или француза – с твердой обложкой добротного картона, покрытой набивной тканью и украшенной медными уголками, с золотистым обрезом плотных страниц и рельефно оттиснутой розой в овальном медальоне.

Могу себе вообразить, как бабушка Софья придиричиво

их выбирала, осматривала, постукивала ногтем по обложке, пускала веером страницы. Сомневалась, раздражалась, досадовала, самолюбиво выговаривала приказчику: «Нет, голубчик, не подходят. Извольте показать другие». Тот выносил откуда-то из мрака еще кипу, раскладывал перед нею, с пренебрежительной угодливостью ждал, когда же, наконец, она выберет, оплатит и уйдет.

«Вот эти я возьму. – Даже не посмотрев, не удостоив внимания тетради, принесенные им, она вдруг словно впервые замечала те, что вот уже полчаса лежали перед нею на прилавке. – Возьму, возьму, решено». Пока она не передумала, их проворно заворачивали, и бабушка Софья уносила покупку с собой, чтобы дома развернуть, снова осмотреть, постучать ногтем по обложке: «Да, эти. Именно эти. Те были гораздо хуже. Даже сравнивать нельзя».

5

На моем столе, чуть поодаль от предметов письменного обихода, – фотография Сильвестра в обнимку со Святославом Рихтером. Рихтер во фраке и цилиндре, обсыпанном новогодним конфетти, в маскарадном цилиндре, с тросточкой, взятой посередине – так, словно он только что вращал ею перед фотографом. Сильвестр в бутафорском плаще и ботфортах, явно заимствованных – по дружбе – из театральной гардеробной, и со шпагой.

Оба молодые (хотя Сильвестр на шесть лет старше), оба изрядно поднабрались – выпили шампанского, оба беззаботно смеются, позерствуют, фиглярствуют, дурачатся.

У обоих все заботы еще впереди...

Рихтер (*пошатываясь, пришаркивая и чему-то умиляясь*). А позвольте полюбопытствовать, мой друг. Вы когда-нибудь слышали, как ревет осел?

Сильвестр (*убежденно*). Нет, никогда не слышал.

Рихтер (*с интригующей улыбкой, скрывающей тонкий намек*). Значит, вам повезло. Осел ревет ужасно. Так, как играют некоторые пианисты.

Сильвестр. Ах, вот вы о чем! И кто же, так сказать, первый по реву?

Рихтер (*капризно*). Я вам не скажу. Мы оба с вами напились.

Сильвестр (*грозя ему пальцем*). Нет, уж скажите. Я от вас не отстану. Оборин?

Рихтер. Оборин – лев, хотя бы потому, что его зовут Лев. Ха-ха-ха! Как я люблю, напившись, болтать всякий вздор!

Сильвестр. Тогда кто же? Игумнов?

Рихтер. Ну что вы! Игумнов играет бла-о-род-но, хотя, признаться, все хуже и хуже. В трудных местах замедляет темп – позор. В пассажах не все ноты выигрывает.

Сильвестр. Может быть, Нейгауз?

Рихтер. Давайте чокнемся. Угадали. Когда Гарри берет педаль на два такта, у него в Бетховене слышен ослиный рев.

Да и мажет безбожно. Но об этом тс-с-с. Молчок. Не выдавайте меня. Все-таки неудобно, знаете ли. Мой учитель. Я у него под роялем спал, когда своего угла не было. Да и вообще добрейший и милейший человек, само обаяние. Роза!

Сильвестр. Хорошо, не выдам.

Рихтер (*доверительным шепотом*). И если что... ну, вы понимаете – меня арестуют, уведут, посадят и вас станут обо мне допрашивать, – тоже не выдавайте. Умоляю.

Сильвестр. Не выдам, не выдам. Но и вы – тоже.

Рихтер. Клянусь. (*На следующее утро, конечно же, следовали извинения и опровержения.*)

Итак, тетради (как их хранитель, как рассказчик не могу с ними расстаться). Я выдуваю из корешков крупинки засохшего клея, бережно собирая их в ладонь. И открываю первую из тетрадей (она лежит сверху).

Открываю и вчитываюсь в полустертые строчки с оборванными, не дописанными до конца словами, досадливыми зачеркиваниями, нетерпеливыми многоточиями, бумагой, прорванной карандашом, из которого выпал грифель, и буквами, заново обведенными там, где предыдущая попытка оставила лишь сухой, нечитаемый след.

6

И вот мне слышатся голоса...

Женский голос (*из глубины комнаты*). Ради бога, за-

кройте форточку. Я только что вымыла голову.

Мужской голос (*себе под нос*). Надо, наконец, вызвать настройщика. Так невозможно. Я не могу дать скрипачу ля.

Старческий голос (*с бессильным возмущением и обидой*). Почему, желал бы я знать, не убирают мусор на лестнице? Что за свинство! Ладно, мои гости ко всему привыкли, но ко мне приходят ученики.

Тоненький голосок ребенка. Могу я видеть Сильвестра?

Женский голос (*изнемогая от восторга*). Я просто без ума от Бузони! Ах, как он играл в пятницу! Он превзошел даже самого Гофмана!

Старческий голос (*с философской задумчивостью*). Этот таз когда-нибудь упадет кому-то на голову. С самыми плачевными последствиями для пострадавшего и без малейших последствий для вечности. Впрочем, потерянный Бетховеном грош навсегда останется в веках...

Мужской голос (*переходя на шепот*). Я прошу тебя мне верить. Это не просто слова. Я дорожу нашим прошлым и благодарен тебе за все.

Женский голос. Как мило – посадить за первый пульт эту деревянную куклу!

Старческий голос (*возмущенно*). Суший ад! Они устроили суший ад! От консерватории ничего не осталось.

Мужской голос (*примирительно и почти равнодушно*). Tempora mutantur, времена меняются.

Старческий голос (*пофыркивая*). Ну, знаете, это не утешение.

Детский голос (*протяжно и просительно*). А Сильвестр дома? Он мне нужен для шахмат. Мы договорились сыграть три партии.

7

Словно сквозь немую толщу воды до меня доносятся чьи-то восторженные восклицания, блаженные вздохи, горькие сетования, сбивчивые признания, возгласы удивления, горячие исповеди и суровые отповеди – все то, чем некогда жило большое семейство Салтыковых. Семейство, обитавшее в огромной старомосковской квартире с изразцовыми печами, чуланами, темными коридорами, похожим на языческого идола шкафом, из-за которого непременно вываливался карниз для занавесок, преграждая всем дорогу (вечно приходилось переступить), пыльными зеркалами и выложенными поверху цветными стеклышками эркерами. (Правда, с годами их *уплотнили* и к ним *подселили*, печи заложили, а цветные стеклышки выбили и заменили обычными.)

Семейство музыкальное, поэтому в квартире непременно что-то звучало: не только рояль (уж это само собой), но и виолончель, арфа, гобой и даже клавесин, словно бы шелестевший молоточками сквозь тонкое серебро. К тому же Салтыковы давали уроки пения, и из дальних комнат долетали

оперные арии, дуэты и каватины, от которых иногда подрагивали хрустальные подвески люстры и позванивали бокалы на полках буфета. Причем звон и характер дрожания загадочным образом менялись в зависимости от того, что именно исполнялось – «Каватина Алеко» или ария Леоноры из оперы «Сила судьбы».

А когда однажды в доме пел Шаляпин, люстра стала заметно раскачиваться, а один из бокалов упал, и от него откололся кусочек, бережно хранимый и всем показываемый как бесценная реликвия.

Впрочем, все это может быть семейным преданием, каких у Салтыковых множество, как множество у них и всяких осколков, поскольку посуду били постоянно. Поэтому осколок – не доказательство, тем более что на вопрос, было ли на самом деле то, о чем они столь увлеченно рассказывают, у Салтыковых (по свидетельству разговорных тетрадей) принято отвечать:

Кто-нибудь из домашних (*великодушно оставляя повод с собой не согласиться*). Поручиться не могу, но похоже, что было.

Голоса любопытствующих. Когда? В каком году?

Кто-нибудь из Салтыковых (*с апломбом, который Сильвестру в детстве всегда казался плембиром*). Ну, вот еще... Право, не помню... Да и в конце концов, точные даты и неоспоримые факты чем-то унизительны.

Тетрадь шестая. Дядя Коля и дядя Боб

1

Ручался один Сильвестр.

Сильвестр всегда мне доказывал, что Шаляпин действительно у них пел и что он это отлично помнит. Он даже подробно описывал, какой булавкой был заколот его небрежно повязанный ярко-желтый шелковый галстук. Причем Федор Иванович пел не только оперное, но и церковное, что стало для Сильвестра откровением, и он потом всех уверял, что своим пением Шаляпин освятил их квартиру и в нее вселилась благодать.

По словам Сильвестра, благодать была похожа на маленькую, сухонькую старушку со светившимся добротой и лаской лицом, любившую сидеть между шкафами на стульчике – том же самом, что и нянюшка Броня.

А может быть, нянюшка Броня и была их благодатью...

Во всяком случае, из-за шкафов выглядывали ее острые ребячьи колени, обтянутые подолом ситцевого платья, слышалось сопение и похрапывание. Нянюшка Броня отдыхала, готовая тотчас встряхнуться, вскинуться, проснуться, ес-

ли позовут, и виновато прикрыть сухонькой, морщинистой, словно скорлупа грецкого ореха, ладошкой рот, оттого что оскоромила и невольно заснула.

Так или иначе, для маленького Сильвестра их *освященная* квартира была целым миром, не нуждавшимся в добавлении улицы и двора, не говоря уже о бульварах, Никитском и Тверском, казавшихся и вовсе чужими и далекими, принадлежавшими незнакомым ему детям, которых следовало опасаться как своих возможных насмешников (высмеивателей), соперников и врагов.

Улицу и двор он разглядывал из окон, бывал же там неохотно, когда его одевали и *выводили*, он же при этом не столько старался нагуляться, сколько спешил домой, притворяясь, что замерз, отморозил большой палец левой руки, никогда не попадавший в варежку, или промочил ноги. Хотя на самом деле ему просто хотелось вернуться в пределы утраченного собственного мира.

И лишь впоследствии, когда Сильвестр повзрослел, этот мир сузился, утратил былую огромность и, собственно, перестал быть миром, а превратился в обычные комнаты, прихожую, коридоры, заполненные людьми и вещами, которые приобрели не свойственную им ранее выпуклость и рельефность...

Следует учесть, что там, в большой квартире, и своих-то было достаточно – даже с избытком, но туда вечно наведывались другие родственники. Наведывались по самым разным поводам: с поздравлениями, подарками, букетами кремово-желтых роз, иной раз – если повод печальный, – то и соболезнованиями.

Только всегда путались, в каком случае полагалось четное число роз, гвоздик, гладиолусов, а в каком – нечетное. И приносили наугад – авось не ошибутся. И почти всегда ошибались: «Какой позор – не знать такие вещи!» Сконфузившись, краснели. Потупившись, смотрели в пол, себе под ноги. И норовили незаметно лишний цветок из букета выдернуть и... если не сжевать и не проглотить, то хотя бы спрятать за спину.

Но хозяевами это всегда замечалось. Сопровождалось снисходительными улыбками и, конечно же (избави бог!), никогда не осуждалось.

А могли из-за вечной суматохи и беготни услышаться, чего-то не понять, перепутать и в результате принести соболезнования по поводу именин и поздравить с серебряной свадьбой, которая на самом деле оказывалась юбилеем чьей-то безвременной кончины. Поздравить, а затем долго извиняться, оправдываться, ссылаться на то, что кто-то пустил лож-

ный слух, не то себе вообразил, не так сказал:

– Ради бога, простите! Мы не знали. Нас ввели в заблуждение. Примите наши поздравления за самые искренние и глубокие соболезнования.

– Хорошо, хорошо. Спасибо за цветы. Проходите к столу. (И всегда именины произносили как *имянины* и вместо четверга и хурмы подчеркнуто выговаривали: *четверьгь* и *хурьма*).

Да и просто так забежали – присесть на уголок стула, поддержать в руках чашку чая, погладить по голове Сильвестра (он этого терпеть не мог). Показать какой-нибудь незамысловатый фокус, выученный по книге. Навести на стену тень от скрещенных пальцев, напоминающую то ли дикобраза, то ли осьминога. Рассказать, что дают в Большом, и хотя это ни для кого не новость, все с заинтересованными лицами слушают, выражают почтительное внимание, говорят, что нельзя пропустить, что надо пойти, что это будет событие.

Для Сильвестра таким событием стало «Сказание о граде Китеже»: в Большом театре он был десять раз, сидел на галерке, затаив дыхание и дрожа как от озноба, и все не мог послушаться, посмотреться...

3

И прежде всего, конечно, завсегдатаями у Салтыковых были дядя Коля и дядя Боб, жившие неподалеку, на Соба-

чьей площадке, и проводившие у них больше времени, чем в собственном доме. Они даже в шутку называли себя приживалами, за что им доставалось, поскольку на такие шутки Салтыковы сердились, не считали их смешными, а уж скорее глупыми и дурацкими, но на глупости все же не обижались, принимали их снисходительно и иногда сами невольно повторяли: «Что-то наших приживалов давно не видно».

И приживалы тут как тут – звонят в дверь (по звонку их всегда угадывали). Звонят, сияют, притопывают, расшаркиваются, влекомые неведомой силой (дядя Коля) или выталкиваемые под зад пружиной (дядя Боб).

Пружиной, не позволявшей лишнюю минуту промедлить, задержаться в собственном доме. Иной раз ботинок толком не зашнуруют, а уж бегут, спешат, утюжа ногой мостовую, чтобы вовсе не потерять незашнурованный ботинок.

Да и какой у них собственный дом, если оба они – отпетые бобыли.

Впрочем, в этом их единственное сходство, а в остальном они такие разные, прежде всего по части музыки, но затем и всего прочего, не исключая, разумеется, женщин.

Дядя Коля любил все церковное (если Рахманинова, то – «Всенощную», если Чайковского, то – его «Литургию»). Любил долгие службы, каноны, акафисты, богослужебные книги на застежках, праздничные облачения священников, дикирии, трикирии, паникадила. Досконально знал православную Москву (последние островки) – кто где служит, как по-

гут, читают и возглашают.

В семье привыкли к тому, что дядя Коля никогда не скажет: «Идти на службу», а всегда: «Идти на пение». Вот и Сильвестр, отвечая на вопрос, где дядя Коля, писал в разговорной тетради: «Ушел на пение. В Иоанна Богослова на Бронной. Вернется поздно».

Дядя Коля часто вспоминал о том, как виделся с самим Великим Архидиаконом Константином Васильевичем Розовым, служившим при патриархе Тихоне: вот уж были возглашения!

«Что твой Шаляпин – аж стекла дрожали!» – рассказывал он Сильвестру, и тот со страхом смотрел на стекла в оконных рамах, опасаясь, что и они могут не выдержать возглашений Великого Архидиакона.

4

А дяде Бобу – что ему Великий Архидиакон! – подавай Вагнера, Вальгаллу, полет валькирий (на худой конец Серова или Римского-Корсакова, у которых хоть и по-русски, но тоже *было*).

Столь же страстно обожал дядя Боб и Италию, где, по его собственным словам, провел сладчайшие годы юности, как некогда столь чтимый им Генрих Нейгауз, вырвавшийся во Флоренцию из своего провинциального, пыльного и скучного Екатеринослава.

Вот и дядя Боб получил от отца в подарок двести рублей и – вырвался. Доехал до Вены, а оттуда прямехонько (всего ночь в поезде) до Венеции. «Конечно, была и любовь, и упоение творчеством, и вообще умопомешательство ото всего, что мне открылось», – записал он позднее в тетради у Сильвестра.

Обожал дядя Боб не только старых клавесинистов, но и почтенного папашу Джузеппе (так дядя Боб называл Верди), не смущаясь тем, что *итальянщину* в музыке терпеть не мог его же собственный кумир Рихард Вагнер.

Когда новорожденному племяннику выбирали имя, дядя Боб настаивал, чтобы его нарекли Паоло. Это была навязчивая идея дяди Боба – тем самым он отдавал дань и Италии, и Чайковскому с его «Паоло и Франческой». Об этом племяннику не раз рассказывали – и мать, и отец, и тетушки, и бабушка Софья. Все хотели донести до него забавную мысль, что он мог бы быть *другим* – не Сильвестром, а Павлом или даже (как настаивал дядя Боб) Паоло.

Но Сильвестр в этом ничего смешного не находил.

Напротив, эта мысль его всерьез притягивала и завораживала, поскольку в своем развитии (подсказанном воображением или неким смутным воспоминанием из прошлой жизни), допускала возможность того, что он мог бы быть и девочкой – не другим, а *другой*. Взрослые об этом даже не подозревали и не догадывались, занятые своими спорами, но Сильвестру было легко представить себя девочкой, особен-

но такой, какая бы ему самому нравилась, какой бы он любовался, с замиранием сердца брал за руку или прикасался губами к волосам.

Ему предоставлялся этот выбор так же, как взрослым – выбор его имени, но он воспользовался бы им иначе, чем они. Допустим, они назвали бы его Сашей, но ведь Саша способен быть и мальчиком, и девочкой, поэтому все остальное зависело бы от его желания: захотелось ему быть Сашей-мальчиком – и он мальчик, захотелось девочкой – и он девочка.

Так было в детстве: Сильвестр еще ребенком испытал соблазн женственности – великий соблазн эпохи, которому поддались многие, и женственный Белый, и женственный Блок, и женственные, вернее, по-бабьи мягкотелые поэты-функционеры советского времени. Но Сильвестр, поддавшись, преодолел свою женственность. Ребячьи фантазии были забыты, и над ним воссиял знак мужественности – путеводный знак его творческих исканий и жизненных перипетий.

5

Разговор взрослых о том, как его назвать (в их собственном вольном пересказе), Сильвестр позднее записал – увековечил, словно для него было важно, чтобы он сохранился. Имени он придавал большое значение (наверное, вслед

за Лосевым). Но затем по неведомым мне причинам заклеил эту запись полупрозрачной папиросной бумагой. Не вырвал страницу, не скомкал, не выбросил в мусорную корзину, а все-таки сохранил, хотя и утаил.

Я эту бумагу аккуратно снял скальпелем и прочел:

Дядя Боб. Паоло и только Паоло. Я настаиваю. Если мое мнение для вас что-либо значит, извольте меня послушать.

Елена Оскаровна. О, боже! Его не переубедишь.

Дядя Боб. «Паоло и Франческа» – для вас хороший пример, я надеюсь. Среди русских есть и свои Паоло. Не буду сейчас называть.

Бабушка Софья (*наставительно выговаривая*). Паоло и Франческа мучаются в аду. Ты этого хочешь для племянника? Хорош же ты гусь!

Дядя Боб (*с томным, благодатным вздохом*). Я бы тоже согласился на ад ради такой юной прелести.

Бабушка Софья. Ах, он согласился бы! Смотри-ка!

После этого следовал монолог дяди Боба, которому Салтыковы внимали с молчаливой укоризной и невысказанной мольбой, чтобы он наконец замолчал.

Дядя Боб. Да, собственно, и соглашаться не надо, поскольку у нас в России всегда ад. Поэтому пусть хотя бы в имени будет немного Италии, немного южного солнца, голубого, безоблачного неба, терпкого молодого вина. Я же не призываю назвать его Рихардом или Зигфридом, хотя в этом тоже что-то есть. Но это тяжелые имена. Тяжелые, вросшие

в землю, как дубовые кряжи. Немцы, увы, мало слушаются своих мимолетных прихотей и вздорных капризов, не умеют радоваться жизни, опьяняться ею. Поэтому повторяю: Паоло и только Паоло. К тому же если он когда-нибудь вознамерится покинуть свою несчастную родину и поменять ее на Италию, как многие Салтыковы, по крайней мере будет забот поменьше: имя не придется менять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.